

Астафьев Виктор Петрович Родной голос astafevvictor.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://astafevvictor.ru/> Приятного чтения!

Родной голос
Виктор Петрович Астафьев

Наши спутники Саша и Владимир, подросток Сережа, Сашин сын, также недолго сопротивлялись сладкой дреме и вяло, без азарта поиграв в карты, отвалились на борта вертолета, отдались сладкой дреме....

Виктор Петрович Астафьев

Родной голос

Вечно живи, речка Виви

Вертолет – самая убаюкивающая машина изо всех, на каких я ездил и летал. Мы и получаса не летели от Туры – центра Эвенкийского национального округа, а спутники наши сплошь уже позакрывали глаза, свесили головы на грудь. Два молодых эвенка в джинсах и современных куртках, открывшие было книги, так ни одной страницы и не перевернули, сморились, навалившись на борт вертолета, братски прикинув друг к другу. Даже Купец – старый белый кобель, долго искавший место в просторной утробе машины, нашел его наконец, бухнулся брюхом на пол и, отвернувшись от запасной бочки с бензином, дышал запаленно, высунув язык, тревожно вскидывал голову, чуткие и нежные ноздри его обильно сочились мокротой, защищая «тонкий» собачий нюх от бензинового и выхлопного газа.

Наши спутники – Саша и Владимир, подросток Сережа, Сашин сын, – также недолго сопротивлялись сладкой дреме и вяло, без азарта поиграв в карты, отвалились на борта вертолета, отдались сладкой дреме.

Лишь мы, люди городские, зиму и большую часть лета просидевшие в городских квартирах, возбужденные наконец-то осуществившейся мечтой о рыбалке в первозданных местах просторной Эвенкии, никак не можем успокоиться, вертим головами, прыгаем от окна к окну и смотрим, смотрим во все глаза на тихую светло-зеленую тайгу, расположенную между двумя великими реками – Енисеем и Леной. Здесь, на таком пространстве, наверное, может разместиться вся Америка, да еще и часть Канады.

Побывавши первый раз в Эвенкии, затем в монгольской пустыне Гоби, я подумал, что у тесно живущего в Европе человечества есть хороший запас земли, да и для американцев как из Штатов, так и из Латинской Америки здесь места хватит. Дело за небольшим – мирно жить на земле и хоть часть средств из военных бюджетов, хоть маленький бы ручеек золота отделить и направить в русло созидания, на разумное освоение этих безлюдных пространств.

...Я сказал «мы», а мы – это красноярский скульптор и живописец Владимир Алексеевич Зеленой, мой внук, Витя-младший, и я.

Я в Эвенкии вторично, Владимир и Витя впервые. Мы летим на речку с чудным названием Виви, происхождение которого объяснить мне никто не смог.

Вертолет ровно и миролюбиво гудит, чуть покачивается, оставляя под сытым железным брюхом леса, горы, речки, сплутавшиеся меж собою, словно вены на человеческой руке, тихие пустынные озерца на плоских седловинах горных хребтов. Нет-нет в изгибе безвестного ручья или речки белой лапшинкой засветится лед, которому нынче уже не растаять – на дворе август. Были уже иньи, остыла земля и вода, пал «главный» комар; на кустарниках ивы, на голубичнике, на красной смородине и редкой здесь уже рябине очерствел, повял и начал искриться мелкий лист.

Астафьев Виктор Петрович Родной голос astafevvictor.ru
Неподалеку отсюда упал в начале века Тунгусский метеорит, и все еще не разгадана его тайна, все еще идут споры о том, что это? Метеорит, межпланетный корабль, потерпевший аварию, звездолет, сделавший вынужденную посадку и снова умчавшийся в миры иные?..

Дремлющий человеческий разум, просыпающийся лишь для судорожных, чаще всего злых и пакостных дел, все еще склоняется к мысли, что, кроме нас, в мироздании никого нету, а уж умнее и быть не может, стало быть, никакого и корабля прилетать не должно, трахнул с неба камень и сгорел в земной оболочке или так глубоко ушел в недра, что и раскопать его невозможно.

Человек всегда искал упрощенные и легкие решения, кратчайшие пути к благоденствию, счастью и разрешению всевозможных тайн и загадок. Самый из них короткий и простой способ жить хорошо, благоденствовать, не утруждая себя, – это ни о чем не заботиться, отобрать хлеб у ближнего, не отдаст смять его, растоптать, уничтожить, конечно же неизбежно самоуничтожаясь при этом, ибо рать кормится, а мир жнет. Аж в древней еще пещере, выхватив кость у более слабого брата своего, более наглый и сильный брат подписал себе смертный приговор, и пятнадцать тысяч войн, происшедших на земле, восемь миллиардов людей, сгоревших в военном смерче, – это исполнение самоприговора, это страшное проклятие земное и небесное существо, которое употребило разум свой не по велению Божию, не по назначению природы, исказив лик свой и запакопив планету, которой он недостойн и как обитатель ее, и как хозяин, и как истребитель, беспощадный ко всему живому и растущему на земле.

Природа сделала трагическую ошибку, вложив разум именно в это двуногое существо, и теперь сама, стелая, плача, корчась в судорогах, не в силах ни сдержать, ни исправить деяния своего выродка, так и не обуздавшего в себе первобытного дикаря.

В этой части Эвенкии нет скальных вершин, каменных останцев. Почти все вершины хребтов плоски, в крошеве черных, полуголых, где и совсем голых камней на склонах, промытых до серой плоти и покрытых серым лишайником. На щеках гор и по хребтам – воронки огромного размера, вдавши, в которые запали, сжались в страхе вечные снега, а может быть, это северная сова плыла в слепом сонном полете и ударились в склон горы, изорвала свои крылья, насорила белого пера. Здесь царство камня и кустарника, здесь дуют вечные ветры, сгоня всякую жизнь в долины рек и ручьев, и лишь в разгар лета, во время разгула лютого комара, сюда, на холодный обдув, убегают олени и все ищущие спасения звери и зверушки.

Все летим, летим над землей, огромной, бесконечной, малохоженной, почти неразведанной.

А ведь это всего лишь кусочек, малая часть страны под названием Сибирь, этакого российского Эльдorado, которое составляет 29 процентов территории Советского Союза, и условная ее площадь равна 6,5 миллионам квадратных километров. Плотность населения здесь в десятки раз ниже, чем в европейской части Советского Союза. В Восточной Сибири, где я и пишу этот очерк, в избе родного села Овсянка, на берегу Енисея, плотность населения реже, чем за Уралом, на западе страны, более чем в 30 раз. В момент присоединения Сибири к России на этих гигантских просторах почти не было русского населения. Здесь жило в основном коренное население 31 национальности, «инородцы», как звали их до революции, насчитывавшее чуть более миллиона человек.

Но с окончанием строительства Великой Сибирской магистрали – железной дороги, протянувшейся на десять тысяч километров, от Москвы до Владивостока, построенной, кстати, без большого шума и без брака, в рекордно короткий срок, с помощью примитивных орудий труда, население Сибири неуклонно возрастало. Если в 1897 году оно составляло чуть больше 5 миллионов, то уже в 1926 году в Сибири проживало за 13 миллионов человек, в основном переселенцев с Украины, из Белоруссии и художественного центра России.

С развитием дорог и транспортных связей Сибирь начинает участвовать в торговом обороте России, поставляя на международный рынок черные и цветные металлы, лес, уголь, нефть, газ. Более 350 предприятий Сибири ныне участвуют во внешнеторговых отношениях, но для такой страны, для таких богатств все равно это очень мало: всего 14 процентов от общесоюзного экспорта. Темпы роста производства продукции здесь ненамного опережают общесоюзные.

В Сибири до революции добывалось более десяти миллионов пудов рыбы, что составляло 80 процентов от общего уровня добычи рыбы в России. Сибирь в ту пору занимала первое место по добыче пушнины и одно из первых – по добыче золота. Торговля сибирским маслом в общем экспорте России занимала 75 процентов. В 1913 году, например, Сибирь продала почти 72 тысячи тонн масла отменного качества, конкурировавшего с основными и давними его производителями в Копенгагене, Гамбурге, Лондоне, сбившего, кстати, цены на общеевропейском рынке. Торговля сибирским маслом давала России золота вдвое больше, чем вся сибирская золотодобыча, давняя, славящаяся когда-то отрасль русской промышленности. Дело доходило до того, что русские купцы пытались подкупать государственных чиновников и железнодорожные власти, дабы не пропускать в Европу сибирский дешевый хлеб и масло.

Сибирь и поныне еще является мировым кладом, здесь столько угля, леса, газа, нефти, торфа, что если все это по-хозяйски добывать и продавать, то хватит снабдить сырьем и напоить пресной водой весь мир Божий. Здесь находится уникальный мировой колодец – Байкал с чудодейственной водой и неповторимой фауной. Не хватает Сибири одного – настоящего, рачительного хозяина.

...Качнуло машину, она резко развернулась и бочком-бочком начала прислоняться к каменной косе, о вынос которой билась и, загибаясь птичьим крылом, неслась покато бурная речка саженой эдак в полтора-триста шириной.

Вертолет завис над косой, прицелился и осторожно угнездилился на россыпи камней. Летчик выключил двигатель, лопасти над вертолетом какое-то время крутились бесшумно и наконец крестообразно замерли.

– При-ие-ехали! – сказал, просыпаясь, Саша. Купец, как только открылась дверца, выпрыгнул из машины и начал вычихивать из себя едкий газ, потом задрал ногу на ближний куст тальника, сделал свое дело и потрусил по тропе, обнюхивая и обследуя местность.

Мы быстро выкидали багаж, вертолет снова затрещал, приподнялся над нами, и его понесло вверх по реке, взнимая над лесами и горами, и несло до тех пор, пока зеленые пространства земли и голубые небесные дали не проглотили лихую хвостатую козявку.

Охотничья избушка

Это отдельная страница в жизни охотника. Когда-то топором рубил ее охотник. Наполовину вкапывал в землю, чтоб теплее, чтоб на сруб много лесу и трудов не тратилось. Низкая, темная, сырая, с лазом-отверстием вверху, служившим одновременно и дымоходом, печь-каменка, то есть из камня выложенный очаг, и нары из едва отесанных жердей, под боком хвойный лапник, ни дверей, ни окон, ни лампы, ни посуды – котелок, топор, нож, ружье и побольше припасу – пороху, дробу, пулю, гильз. Все надо было в тайгу носить на себе и беречь, беречь соль, собаку, сухари, себя и прежде всего припас.

Пробежав короткий, с воробьиный носок, день по тайге, охотник проваливался сквозь дыру в яму-избушку, растапливал камелек, громко матерясь, кашляя, чихая, вытирая слезящиеся от дыма глаза черной рукой с потрескавшимися пальцами, начинал делать необходимые дела. Маленько отдышавшись, наскоро ел, затем обнимывал зверьков, распяливал и развешивал шкурки на просушку, затем заряжал патроны, выбивал отстрелянные пистоны, забивал в горелые гнездышки новые, блескучие, сыпал мелкий порох, дробь, прессовал палочкой-толкушкой моховые пыжи, затем рубил дрова, драл бересту на растопку и уже под звездами, при свете яркой зимней луны, неторопливо волокся к незамерзающему ключу, черпал котелком воду, из-под корня старого дерева откапывал туесок, накладывал в берестяную коробку горсть-другую соленой налимьей или харюзной икры – харюзная икра запасена с весны, налим шел на икромет сейчас, в морозы, и его добывал охотник нехитрой ловушкой-мордой, плетеной из ивы. Выпотрошив налимов, охотник варил уху, скармливал собаке головы, сам нажимал на печенку – максу, полезительную для здоровья, особо для зрения.

Глухой, стылой ночью пил охотник чай, запаренный смородинником, иногда с

Астафьев Виктор Петрович Родной голос astafevvictor.ru
мороженой ягодой – брусникой либо с клюквой. Деревянный ушати́к ведра на два, стоявший в углу избышки, заметно пустел – все и наслаждение охотника, вся радость – побаловаться чайком. Коротко перекрестившись трудно складывающимися пальцами-перстами, падал на нары охотник и тут же проваливался в глубокий, медвежий сон, желая, чтоб нагревшаяся каменка подольше держала тепло и в избышке, кисло пахнувшей от коры и угарной от копоты, не так скоро выстыло бы..

Были избышки с хитро сделанными ходами – подкопами под бревна, и надо было в них не влазить, а подлазить, легши на бок. В нашей местности бывалые охотники живали и в пещерах, дрогли длинную ночь под наскоро сделанным хвойным козырьком, если не успевали засветло вернуться к избышке.

Слава Богу, что большинство из тех граждан, кто носил и носит дорогие меха, никогда не живал в тайге, не видел красивую и ловкую зверушку, не добывал ее таяком раненую или в капкане, не изведал таежных тягостей и напастей, иначе он, городской сентиментальный житель, откажется носить меха, и рухнет золотое промысловое дело, от веку кормившее и продолжающее кормить сибирских таежников.

Наша просторная избышка на Виви рублена из ошкуренного леса, со струганым полом, артельным столом, крыта толем. В избышке печь из толстого железа, в прирубленной к избышке баньке даже и каменка по-современному излагена, полки, тазы, ведра и провода, электрические лампочки. Зимой можно запустить электродвижок. На полках, прибитых к стене, – аптечка, старые журналы, рыбацкие принадлежности. Живи, охотник, мойся, отдыхай.

..Вертолет всему голова. Он и помощник великий, он и покоритель таежных пространств. Все, что нужно и даже не очень нужно, доставит машина в любой уголок тайги.

Ныне охотнику и патроны заряжать не надо – готовые продают, да и основное орудие ловли соболя нынче – капкан. Побольше их завози, охотник, и расставляй потолковой – озолотеешь. На своем «путике», значит, на охотничьем участке, охотник рубит иногда по две-три избышки – чтоб не возвращаться после изнурительной охоты «домой», к основному стану.

Прежде что спасало и кормило охотника? Обилие зверя. Ему хватало и короткого дня и малого крута, чтоб настреляться досыта – в родной моей местности охотник в двадцатые-тридцатые годы добывал за день с хорошей собакой по 40-50 белок. Случалось, и соболишку попутно прихватывал. Потом пошли капканы. Но сколько в охотничьей суме мог унести капканов охотник? Да и дороги, недоступны деревенскому жителю были те жестокие железы, поэтому ладили они древние, дедовские, хитрые ловушки на зверя и птицу: слопцы, наваги, пасти, ямы, петли, и опять труд, труд лопатой, топором: надо было все это мастерить, копать и откапывать, погода-непогода, надо идти, ловушки настораживать и каждодневно проверять – не съели ли добычу мыши, кукши, вороны, вольные блудливые звери вроде росомахи, волка, лисы.

Жизнь охотника и поныне хотя и благоустроена, да все так же трудна и опасна. Саша успел рассказать, как «обгорел» в устье этой речки с красивым названием. Ночью отчего-то загорелась избышка, выскочил в чем спал и пять суток сидел возле головешек, медленно умирая от холода и голода. Когда доставили его в больницу, в нем, крупном, жилистом мужике, как в выходце из немецкого концлагеря, было тридцать пять килограммов. И в реку он проваливался, и деревом его придавливало; случалось, и болезнь валила, зверь нападал. Все случалось, все бывало, но без тайги жить он не может. Тайга – его отравы, его неволя и свобода, его жизнь и мука, его труд и отдых. Он рассказывает о тайге и бывших с ним событиях и приключениях в ней непринужденно, без красованья и озорства. Работа и промысел в тайге – дело нешуточное, но дело любимое, душе и телу необходимое.

Ну вот мы и на рыбалке!

Рыба в Виви велась. Против наших индустрией задушенных рек была она здесь даже изобильной, но брала не на «хапок», осторожно брала, на выбор, охотней утром и под вечер.

В избышке, в добычливом месте постоял отряд геологической экспедиции. Оставив

Астафьев Виктор Петрович Родной голос astafevvictor.ru
кое-какую аппаратуру, синюшные пятна нефти на воде и на берегу, забрав лодку, экспедиция ушла вверх по течению, порядочно «настегав» речку Виви, выловив рыбу покрупней. Снабжаются ныне геологи, как и все жители Севера, очень плохо, и без дополнительного продукта им хоть пропадай. Вот и ловят они рыбу повсюду, добывают зверя всеми дозволенными, но чаще недозволенными средствами. Надо когда-то и работать: полевой сезон здесь короток.

Мой внучек, забредши с удочкой в струю поверх переката, быстренько выдернул на мушку десятка полтора вертких, сытых харюзков и потерял к рыбалке всякий интерес. Слонялся по берегу, искал развлечений или валялся на нарах в избушке. Вот вам и наглядное расхождение в поколениях. Его дедушка, поймавши в Енисее пищуженца на пятом году жизни, готов был и кончить жизнь на берегу. В дырявых обутчонках, когда и вовсе босиком, сразу после ледохода, обжигаясь подошвами об ледяную стынь, бывало, и между нагроможденных льдин сидел возле закинутой удочки или животника и ждал удачи. Бывало, бабушка найдет меня, поджавшего ноги под зад, чтоб теплее было, посиневшего, дрожащего, с примерзшей к нижней губе белой соплей, и запричитает: «Да тошно мне, тошнехонько! Погибат, околеват на берегу и погинет, околеет, видно. Озевали ребенка, изурочили...» – и силой меня домой тянет, продолжая высказываться в том духе, что пропащий я человек, что ничего путного, то есть настоящего хозяина из меня не получится, буду я вечным пролетарьей и бродягой скитаться по свету с удочкой и ружьем, добывая ненадежное пропитание.

Что ж, бабушка была неплохим пророком. Так и не получилось из меня хозяина, зато рыбак вырос яростный, с детства добытым ревматизмом и, несмотря на это, готовым и ночи стыть и, если судьбе угодно, на каком-нибудь красивом бреге русской речки «забыться и уснуть».

Пришел Володя Сабиров с нижнего переката. На деревянную рогулину-снизку вздето у него два ленка и три крупных хариуса. Сережа на «кораблик» поймал черного хариуса и ленка. Скульптор Зеленов-Сибирский, как он, веселый человек, себя называет, на «балду» – крупный пенопластовый поплавок, к которому прицеплена кисточка искусственных мушек-обманок, хорошо мотает хариуса, и я, наконец, поднял и привел на удочке в камни доброго хариуса, отчаянно сопротивлявшегося в струе, но быстро выдохшегося и только потряхивающего головой на мелководе – старается боец выплюнуть ярким цветочком к губе прилипшую гибельную мушку.

Вот на блесну и ленок взялся, что-то между тайменем, хариусом и форелью этот самый ленок. Красивей рыбы в наших пресных водах нет. И бойчей. Почувствовав, что он попался, ленок яростно борется за свою жизнь, выпрыгивает из воды, мечется, ходит колесом, рвется вперед, встает поперек течения и часто сходит, особенно в порогах и на перекатах.

Мой ленок взялся в глубоком, сильном перекаде, там он стоял за камнем и, совершенно незаметный в воде, подкарауливал мелкую рыбу, добычливо кормился. Сытый, сильный, он не хотел идти в тихую воду, к берегу, выделял такие фортеля, что я решил: сойдет, непременно сойдет.

Когда я наконец его вывел и выбросил на камни, весь дрожал от азарта и долго сидел, глядя на эту постепенно усмиряющуюся, упругую силу, на отгорающую красоту. Яркоперый, с оранжевым или раскаленным хвостом, с плавниками, похожими на лепестки сибирского жарка, весь по бокам в пятнах, колечках, искорках, с резко обозначенной ватерлинией, он еще как бы чуть тронут красноватым, закальным цветом, и только тугая, непокорная спина его темна и упруга.

Все-все в этой рыбине было выстроено природой для вольного житья, для светлой воды, для прожорливой охоты, хотя рот у ленка невелик, зубы не очень остры и голова небольшая, короткая, с узким покатым лбом. Ленок единственная из наших северных рыб, способная свиться в кольцо на удочке. Могучими мускулами ленок может разжать самую сильную руку и выскользнуть из нее, потому что на нем нет чешуи, тело прикрывает крепкая, плотная кожа, к которой как бы приварены пупырышки, похожие на чешую. Кое-где эту рыбу зовут валек, за крепость тела, за округлую спину и бока, за умение поймать корм-добычу одним движением головы, не выходя из-за камня, за способность валяться, то есть кататься по камням-перекатам в воде, поднимаясь к порогам и нерестовым речкам на икромет, если потребуется, «пройти» малое расстояние по траве и мокрому прибрежному камешнику.

Астафьев Виктор Петрович Родной голос astafevvictor.ru

Завершенное создание природы! Как и всякое чудо, ленок не терпит плена, насилия, чуждой ему среды. Он не просто засыпает, он отдалается от этого подлунного мира, превращаясь в темно-серую головешку, на которой лишь отдаленно что-то светится, догорает. Домой привозишь рыбу совсем темного тела, на всех рыб похожую, и кто не вынимал ленка из воды, тот и представить не может, как полыхал он ярко, празднично и как буйно боролся за свое существование, устремляясь к вольной воде, к светлomu своему дому.

Мне хотелось бы описать каждую рыбину, пойманную мною и моими товарищами, норое ее и прыть, потому что каждая рыбина свою кончину встречает по-разному, и нет покорных. Все рыбы хотят жить, не понимают и не принимают смиренно смерть, как мы – человеки, в жизни блудливые, алчные, многословные, трепливые и трусливо-покорные перед смертью, до конца надеющиеся, что кого-кого, но меня, такого смиренного, примерного, Богу и судьбе верного, она, косая, обойдет стороной, пощадит, повременит...

Наловили мы рыбы изрядно, поймали и таймешат, правда, крупного тайменя никому добыть не удалось. Крупных выловила и съела геология, прилетающие на вертолетах гости, и сами вертолетчики большие мастера по очистке рек, тайги и всяческих богатых угодий, в том числе и тундры.

Сбылась наконец-то и моя мечта. Я поймал на блесну таймененка. Последний раз ловил я его... э-э, дай Бог памяти? Году в пятьдесят восьмом, спускаясь по реке Чусовой мимо хариусной речки Бисер. Тогда на Урале во многих горных реках водился еще таймень, хариус и много другой рыбы. По берегам самой красивой в Европе реки Чусовой жили люди и плыли плот за плотом, лодка за лодкой отпускники, рыбаки и туристы. И лес плыл, сплавной, недогляженный, гиблый лес. Постепенно обрубались притоки Чусовой, наступление дошло до берегов, достигло водоохранной зоны.

В середине пятидесятых годов кто-то из местных высоких мудрецов додумался и дал указание сдергивать сосны со скалистых берегов и утесов. Я видел те «лесозаготовки». Работая в ту пору в газете «Чусовской рабочий», «вел» лес и транспорт, был свидетелем того, как, прикрываясь тем, что народное хозяйство, порушенное войной, надо срочно восстанавливать – враг не дремлет, не постепенно, а лихорадочно, с громом, шумом обламывали, обдирали, убивали, грабили, обрубали древнюю, богатейшую землю под названием Урал, пока не доконали ее окончательно, ныне на Урале, по существу, жить нечем и добывать нечего.

Кто хочет увидеть полнейшее банкротство «великих», ретивых хозяев пусть приедет и подивуется на лысые хребты, на мертвые реки, на гигантские опасные пустоты в недрах, под которыми на большой глубине клокочет и кипит океан горячей воды – единственное богатство, до которого еще не добрались современные покорители природы. Но доберутся, утопят в горячей преисподней, сварят себя и свой край, древний, могучий когда-то, ныне примолкший, обобранный и угасающий. Урал – наглядный пример, горький укор нашему грозному обществу, вступающему в третье тысячелетие уставшим, больным, разоренным, уже стыдящимся говорить о светлом будущем, ради которого, собственно, и городился огород, шло повальное истребление сырьевых запасов – за десятки лет сгорело в доменных печах несколько месторождений руды, рассчитанных на века, в том числе железная «жемчужина» – гора Магнитная; повально сожжены или дожигаются уголь, нефть, газ. Но такого разбоя, такой напасти, какой подверглись уральские леса, и вообразить невозможно, потому как не поддается это воображению.

Повторяю, всего я навидался на своем веку, но тех лесозаготовок на реке Чусовой мне не забыть вовеки. Ставились лебедки на лед, заносился на горы и в камни трос, удавкой нахлестывался он на ствол, и дерево сдергивали вниз. Кроша сучья, вершину, рвя кору, переламываясь на части, мерзлое дерево чаще всего застревало в камнях, но если на лед и вытаскивалось чего-нито, так это обломки, огрызки, коренья без стволов: мало они походили на красавицу-сосну, тысячу лет выраставшую, укрепляющуюся на утесах и, наконец, гордо вознесшую к небесам свою зеленую головешку. По всему белому полю реки – костры, сажа, черные промоины, в которых шевелилась испуганная вода.

Не из сентиментальных или патриотических чувств прекратились варварские лесозаготовки на реке Чусовой, а потому, что очень уж они накладны, дороги были...

Преступные дела лесозаготовителей завершал преступный, чаще всего гулевым,

Астафьев Виктор Петрович Родной голос astafevvictor.ru
бесшабашным людям разведенный огонь. Пожары – вечное бедствие России – dokonчили уральские леса. Нынче берега реки Чусовой пустыни, доживают здесь сирий, хилый век свой редкие рабочие поселки, в которых еще можно узнать признаки древних уральских заводов.

И воды в реке Чусовой летами нет. В прошлом, 1988 году, реку в районе города Чусового можно было перейти вброд. И это та самая река, половодье и буйства которой так красочно описывал еще в начале нынешнего века в книге «Бойцы» (по названию утесов и скал) полузабытый русский классик Мамин-Сибиряк. На всем протяжении во много слоев река Чусовая устелена топляком, и я уверен, что придут еще лесозаготовители другого «профиля» поднимать этот лес, выгребать его из-под камней, со дна реки – нужда заставит.

* * *

Я к тому так подробно остановился на воспоминаниях об Урале, что и над космически-далеким, нехватно-пустынным и пространственно-непостижимым Эвенкийским краем нависла беда: на главной реке Эвенкии, Нижней Тунгуске, Угрюм-реке, как назвал ее в одноименном романе замечательный писатель и землепроходец Вячеслав Шишков, проектируется строительство самой могучей в мире Туруханской гидроэлектростанции.

В устье Нижней Тунгуски, на правом высоком, осыпистом берегу Енисея, стоит один из старейших городов Сибири – Туруханск. Возник он после угасания древнего заполярного городка – становища Мангазеи, стоявшей на берегу Карского моря между устьев великих рек Оби и Енисея; новое поселение какое-то время звалось селом Монастырским, потому как началось с монастыря, воздвигнутого на острове против того места, где стоит нынешний Туруханск, звавшийся когда-то и Новой Мангазеей.

Километрах в ста двадцати выше устья Нижней Тунгуски, на больших порогах, реку сжимает каменный створ. Вода здесь полна, кружлива, волниста, темна от беспокойной глубины. С обеих сторон реки голые утесы – идеальное место для плотины – решили гидростроители и пообещали большую экономию при строительстве «за счет естественных, выгодных условий»...

Этакий же вот скалистый створ в районе речки Шумихи решил когда-то участь Енисея. Там тоже было узко, дно реки каменное, и «естественные выгоды» ускорили утверждение мошеннического проекта. Во что, в какую выгоду обернулось строительство Красноярской ГЭС – уже никто не помнит, но вред от этого сооружения городу, краю, Сибири велик и вечен, и никакими «выгодами» и временными победными успехами его не перекроешь. Вместо обещанной в проекте тридцатикилометровой польны получилась трехсоткилометровая, парит она всю зиму на оробелую землю, мучает реку и людей, особенно близкий Красноярск с почти миллионным населением. Раз в пять-шесть лет гидроэлектростанция сбрасывает «лишнюю» воду, и тогда начинается бедствие; вода все рушит, сносит и уносит – только летом 1988 года за четыре дня один Красноярск понес более трех миллионов убытков.

А сколько всего убытков в этом и других городах произошло от великих гидроэлектростанций – никто не объявит. Стыдно, неловко объявлять. Надо же еще прибавлять сюда убытки от затопленных на протяжении многих сотен километров лучших пойменных земель края, снесенных богатых сел и городков, погубленных лесов. По грубым подсчетам, их плавало и плавает по захламленному водохранилищу 15 миллионов кубометров.

Начальник Красноярской гидроэлектростанции, видом и хватками напоминающий Никиту Хрущева, во времена Хрущева за компанию с такими же, как он, хватами и ловкими дельцами получивший звание Героя Соцтруда, отмахивается от пишущей братии, как от мух: «А-а, эти писаки – они вечно со своими преувеличениями. Всего и плавают-то в моем море полтора миллиона кубометров». Для этого руководящего товарища, как и для некоторых иных руководящих товарищей из Сибири, полтора миллиона погибшего леса – сущий пустяк: море-то – «мое», но все остальное – «наше». Свое, вплоть до десятикопеечного пирожка и командировочного рублика, рачительный хозяин считать и беречь умеет, урвать от земных богатств не дурак, как и все местные мелкие и крупные деятели до недавнего времени еще рвали.

Я как-то был на Красноярском водохранилище в наиболее уловистом районе дербино, и куда мы с лодчонкой и катером метеорологов ни сунемся – везде стоят сети,

Астафьев Виктор Петрович Родной голос astafevvictor.ru
полутлиссеры, глиссеры, водометные и обыкновенные катера мечутся, отовсюду нас со спиннингами гонят – это флот начальника гидростанции ведет промысел для гэсовского холодильника, объемистого холодильника, из которого рыбка по указанию героя уплывает во все концы страны, особенно же по направлению к Москве, к высоким покровителям и «кормильцам» сибирских покорителей природы.

А ведь в Сибири уже 219 искусственных водохранилищ! И не 219, но тысячи героев-руководителей хозяйуют здесь, топят, жгут, превращают в хлам, в отвалы лесные и всякие иные богатства и, по инерции бахвалясь, беспечно называют их неисчерпаемыми.

Но бахвалиться уже нечем. Только вокруг моего села Овсянка, по моим любительским подсчетам, весьма приблизительным, после затопления Енисея исчезли 52 ценнейших растения. Те же, что остались, мучаются на бесснежной, оголенной, окутанной холодными туманами земле, корчатся и вымирают от кислотных дождей, рассеиваемых близким городом, в котором дышать нечем, особенно в безветренные дни.

Прошлым летом кислотный дождь в одну ночь убил картошку в цвету, закрасил черными пятнами капусту и всякую другую овощь. Тут же было придумано название овощной болезни, и через печать последовало предупреждение: сжечь ботву, картофель желательно в пищу не употреблять. В одни почти сутки картофель был выкопан, спрятан в погреба, подполья. Его ели и едят мои, да и не только мои, односельчане. Но картофель быстро гниет, и одна надежда – не успеют люди много себе вреда нанести отравленной овощью. Но что они будут есть? В магазинах-то по-прежнему пустовато, на рынках с трудящихся три шкуры дерут, в коммерческих лавках и на рядах увядаемые джигиты из соседних и дальних братских республик.

Красноярская и Саяно-Шушенская гидростанции принесли и еще принесут неисчислимые бедствия Сибири, в особенности Красноярскому краю. Но на долю Сибири в будущем возлагается основная задача по поставке сырья и топлива к двухтысячному году Сибирь должна производить топлива 90 процентов от общесоюзного масштаба. Западная Сибирь, по подсчетам экономистов, будет добывать нефти и газа в два-три раза больше, чем вся остальная страна, и она же, Сибирь, должна производить 40 процентов всей электроэнергии страны. Только на долю Енисея и его притоков приходится 10–12 гидростанций, которые превратят Енисей, как и Волгу, в великую лужу.

Так должно обеспечиваться благоденствие и процветание будущих поколений. Вот только выживут ли они, эти будущие поколения? Я не уверен, и люди, не совсем еще потерявшие совесть, не утратившие ответственности за будущее, тоже не верят и резонно спрашивают: для чего и для кого мы строим, воздвигаем промышленные гиганты? Ведь уже и сейчас во многих районах страны, в том числе и на разграбленном Урале и в растаскиваемой, как на пожаре, Сибири, жить невозможно.

* * *

...Темным страхом наливаются глаза эвенков при одном только упоминании Туруханской ГЭС, да и эвенков ли только? Бедствия от заполярной, снова «великой» и «выгодной» новостройки могут быть во сто крат большими, чем от аварии на Чернобыльской атомной станции. Гигантомания, дух захватывающие перспективы роста, экономии, процветания с новой силой охватили наших «покорителей», и в первую голову – гидроэнергетиков.

Нижняя Тунгуска, пророчат гидроэнергетики, будет работать за десять Енисеев, и в десять раз мощнее Красноярской и Братской будет Туруханская ГЭС. От нее прольется свет на всю великую страну. «Выгодно» через тысячекилометровые электропередачи подарим и продадим за кордон самую дешевую в мире электроэнергию. Зальем ярким светом напуганную чернобыльской аварией западную половину своей Родины и попутно старушку-Европу осветим невиданным электросиянием.

Уже и стоимость одного киловатта подсчитана. Уже сказано, что «среда» на Нижней Тунгуске малостоящая, лес однороден и беден, недра, правда, плохо разведаны, но предполагаемые несметные залежи угля и нефти можно добывать из-под воды, как на Каспии и в Баку. Народ местный, его и всего-то по Тунгуске обретается 10–12 тысяч, переселить выше, в горы. Что? Он, эвенк, привык жить в поймах рек, где леса, где пастбища оленей, где зверь, рыба, ягода – вековечное, привычное обиталище? На голых, ветреных вершинах эвенки попросту вымрут? Исчезнет целая

Астафьев Виктор Петрович Родной голос astafevvictor.ru
древняя народность?

Ну и подумаешь! И не такие нации, еще более древние и достославные, исчезли ради «светлого будущего». «Лес рубят – щепки летят», – говорил родной отец и учитель всех народов, и лозунг его, и методы возделывания земли, движения прогресса не умерли вместе с ним. Приугас пламень тех лет, да живы те, кто готов встать на карачки и дуть, дуть в тлеющие угли, пока не загорится снова, пока не осветит яркий пламень охваченные энтузиазмом лица подвижников прогресса.

Около полутора тысяч километров протяженностью должно быть будущее самое-самое водохранилище на Нижней Тунгуске. Вечная мерзлота полна рассолов, солей, под нею нефть, газ и другие сокровища, богатые, небогатые – никто не знает, но и возможность таяния мерзлоты, выхода соли и нефти не исключается. Речная вода в Туре, в центре Эвенкийского национального округа, и сейчас «чайного» цвета, солоновата на вкус, по существу, в питье не годится, а как сделают ее горючей, стоячей, глубокой, захлавленной?..

Предоставим же слово людям, здесь, на Севере, живущим и сыновне болеющим за свою родную землю. Вот письмо человека, думающего и много пережившего. Фамилию не называю, чтоб не подставить его под удар, потому что, несмотря на перестройку и гласность, удельные князьки-руководители ни в чем на деле не перестроились. Словам их верить нельзя – словам своим они и сами не верят, тратят их без счета и смысла, ради сиюминутного успеха. Это о них, местных деятелях, еще в пятидесятые годы писалось: «Здесь возносились, быстро меркли районной важности царьки, поспешно разбирались церкви и долго строились ларьки...»

Итак, слово туруханцу:

«Я родился в 1941 году, на Урале, в городе Златоусте Челябинской области. Жил и работал на Урале до 1974 года. Потом после окончания вечернего техникума уехал работать на Север. До настоящего времени живу и работаю в Туруханской партии геофизических исследований скважин. На работу летаем на буровые вертолетами за 300–400 километров, домой прилетаем только в гости. Ищем нефть и газ. Очень больно видеть загубленные реки и речки на Урале, но как губят их в Сибири! Если мы не защитим их, то кто же? Что мы оставим потомкам? Да они проклянут нас за все наши „гиганты“ – самые мощные в мире, если вокруг будет пустыня. Человек должен быть хозяином своей Родины, неважно, где он родился и где живет. Если бы те прожектёры, которые запланировали строительство Туруханской ГЭС, хоть однажды проехали на моторе по красавице Тунгуске и увидели бы ее берега, посмотрели бы на Смерть-скалу, где белогвардейцы расстреляли большевиков-красногвардейцев и сбросили с этой скалы в Тунгуску – с тех пор эта скала получила такое мрачное название, – я уверен, что у кого-нибудь из прожектёров защемило бы сердце: что мы делаем?»

Но там, наверху, никого и ничем не проймешь, ведь они – указующий перст, и стоит только пошевелить „им“, как ретивые исполнители пониже рангом враз заорут: „Дашь!“

Убежден, что именно сверху идет преднамеренное и целенаправленное уничтожение под корень Урала и Сибири. Даже если допустить, что Туруханскую ГЭС построят, то каждый киловатт будет стоить не одну тонну золота. Ведь мы ищем нефть и газ в Тунгусском нефтегазоносном бассейне, так называемой Тунгусской синеклизе. Вся эта территория уйдет под воду, да кто знает, что еще затопит, какие полезные ископаемые. В июле месяце сего года мы на одной скважине „Моктаконская-1“ нашли нефть, возможно, промышленного значения. Скважина до конца еще не испытана. Если здесь будет искусственное море, то исчезнет все живое: не будет ни птицы, ни рыбы, ни зверя пушного и вообще никакого, да еще очень существенно изменится климат. Попадет в зону затопления и Нагинский графитовый рудник. А моральный ущерб вообще нельзя измерить. Ведь скольких родных мест лишится коренное население. И сколько станков вдоль Тунгуски, сколько леса строевого и кедра-кормильца затопит! Мы обязаны спасти реку. Местным удельным князькам жаловаться бесполезно. Для них это лишнее беспокойство и лишние хлопоты, как бы из кресел не выгнали да жалованья бы не лишили, – вот главная их забота.

Строить ГЭС нужно, но не в ущерб природе и людям. Надо очень скрупулезно учесть в проекте все плюсы и минусы, да и не брать всю ответственность за строительство одному ведомству на себя, проекты следует согласовывать с природоохранными органами и Законом об окружающей среде...»

Теперь – мнение ученого Сыроечковского, более тридцати лет проработавшего в Туруханском районе: «Жизнь изменилась, и сегодня мы вынуждены в гораздо большей степени думать о том, как сохранить уникальную енисейскую природу... Считаю, что в равнинных условиях гидростроительство с экологической и даже природохозяйственной точки зрения нецелесообразно... мы прилагаем усилия к тому, чтобы остановить строительство Осиновской и Средне-Енисейской ГЭС. В то же время можно согласиться со строительством Туруханской ГЭС... но экологическая сторона проектов проработана недостаточно; разлившиеся воды Нижней Тунгуски перекроют пути традиционных миграций стад северного оленя, вызовут изменения в климате региона, скажутся на образе жизни людей, населяющих большую территорию. Так ли необходима Туруханская ГЭС, если к началу будущего века ученые предсказывают открытие управляемого процесса термоядерной энергии».

Ученому вторит журналист Каморин:

«...Спешим, опять спешим. Не наломать бы снова дров. В зоне затопления окажется не менее 50 миллионов кубометров деловой древесины, использование ее вообще никак не планируется. Утопить лес на корню, как это уже было в Братском, Усть-Илимском и Саянском морях, вроде бы дешевле. Гигантскими потерями леса уже никого не удивишь – настолько все к этому безобразию привыкли».

Но давайте же послушаем и народ, самих эвенков – самую заинтересованную часть населения края. Ученые Сибирского отделения Академии наук СССР, кандидаты исторических наук, этнографы Сагалаев и Гимуев пишут в статье, которую нигде не могут опубликовать: «Путешественники восемнадцатого века за опрятность, живой ум, элегантность называли эвенков „французами тайги“».

Вот какие высказывания записали эти умные люди на одном из сходов в северном селении. Один из двух братьев-эвенков, заслуженных оленеводов Мукто говорил: «Мне очень грустно слышать, что на мою родину надвигается беда. Прах моих отцов будет затоплен, и я сам буду от них далек. Исчезнет труд наших эвенков-олeneводо-в и охотников. Исчезнет их самобытная культура. Нас сперва отучили от нашего языка, от наших ремесел. Теперь прогоняют с наших исконных мест. Если не восторжествует справедливость, эвенки как нация растворятся в других народах, короче говоря – исчезнут. Я не хочу, чтобы на моей земле, на земле моих предков, было море... Я люблю свой поселок, сиюю речку и, конечно, Родину. Я никак не представляю, что когда-нибудь придется все это покинуть. Родину не заменишь никакими благами, да и ненависти будет у людей больше после этого...»

Далее ученые-сибиряки пишут, и к ним присоединяется начальник геологической партии Озерский: «Наобум в стройку кидаемся!.. Длина реки Нижней Тунгуски более трех тысяч километров – она естественный аккумулятор для людей, животных и трав. Здесь на протяжении многих тысяч лет складывался сложный баланс интересов человека и природы, который оказался единственно возможным. Эвенки, как этническая общность, не смогут существовать без оленеводства и охоты. Иной образ жизни будет означать их вырождение. В старину сущим проклятием были для эвенков „тунгусятники“ люди, за бесценнок скупающие у аборигенов меха».

Ну и что же? Исчезли «тунгусятники», никто уже не обманывает, не угнетает доверчивый таежный народ, никто его не обирает, никто не распоряжается его землей и долей, не спросясь, не считаясь с волей древнего народа?

Нам бы присмотреться к уникальному явлению, изучить бы, как это в суровейших условиях Заполярья приспособились к тундре и лесотундре народы, вытесненные когда-то с южных мест, и выжили здесь, да поучиться бы у них кой-чему, перенять их опыт бескровного освоения северных пространств. Но цивилизованные, самоуверенные народы стали навязывать северянам свой, как им кажется, образцовый опыт жизни, северяне же не слушаются, не принимают разгула, шума и разврата цивилизованных дикарей. Начнут на них нажимать, они откочевывают еще дальше, в снега и льды, – если уж отступить некуда вымирают.

Так богатенькие цивилизованные охотники повыбили тюленей, моржей, медведей и прочую еду североамериканских эскимосов, потом спохватились и давай им «помогать», посылать консервы, всяческие в городах изготовленные фабричные изделия, а эскимосы все равно вымирают – с полными желудками – от голода. Не принимает их организм, не переваривает желудок чужую пищу. Они тысячелетия

Астафьев Виктор Петрович Родной голос astafevvictor.ru
питались совсем другими продуктами.

Да что нам за море ходить и в чужом дворе «кумушек считать трудиться», у нас под боком «матерьялу» хоть лопатой гребти.

И вот они, факты: при переписи населения в 1897 году эвенков на Крайнем нашем Севере было 70 тысяч, в 1939 году – 40 тысяч, в 1959 году 29 тысяч, а в 1970 году – эвенков при переписи вообще не обозначили никакой цифрой – так она, видать, стыдна и удручающая была, для бравых отчетов совсем непригодна.

Что-то покажет нынешняя перепись населения? Замалчивать всякие безрадостные цифры уже нельзя – гласность, придется как-то объяснять, куда девались северные народы: кеты, нганасаны, эвены, ненцы и почему так катастрофически редет население Крайнего Севера, в особенности в местах вечного их обитания – в бассейнах рек Оби, Енисея, Лены?

Я думаю и заранее знаю, что итоги переписи населения в отношении малых народов Севера будут обескураживающими.

Не на одном уже собрании глава нашего государства М. С. Горбачев говорил о недопустимости исчезновения хоть одного малого народа и его языка. На январской встрече с деятелями культуры он еще раз повторил эту мысль и уточнил ее: «Если мы боремся за сохранение леса, трав, цветов, птиц, животных, то тем более надо все силы приложить в борьбе за сохранение народов...»

Хорошо бы, чтоб на этот раз расстояние между словами и делами поскорее сократилось. На слова-то мы и раньше были горазды, в особенности на обещательно-прекраснодушные, это было и осталось нашей главной «козырной картой», а ведь между прекраснодушием и равнодушием почти нет зазора.

Я видел на Оби становище. Решением сверху остановили, посадили на прикол кочевников – хантов. Я не самих хантов зрел, а следы пребывания их в большой, неуклюжей избе, рубленной из сырого, неокоренного леса. По углам и вдоль стен полутемной избы с заплесневелыми стенами, в узелок завязанные, хранились пожитки хантов. Сами они ушли на летние заработки – проводниками и рабочими в экспедиции, на лесозаготовки, на буровые, совсем небольшое число – ловить рыбу. Возвратятся они в эту избу к зиме, им вернут оружие, охотничьи припасы, выдадут капканы, аванс и водку по талонам. Они маленько погуляют, быстро опустошат леса в округе, занявшись пушным промыслом, и далее тут делать им будет нечего. В сырой, полутемной избе тесно, грязно. По утрам из нее выползут обитатели и начнут выбивать шкуры и всякие разные тряпки – меховушки – серое месиво вшей на белый снег.

Прежде, когда ханты и другие северные народы кочевали и жили в чумах, во время перекочевки весь гнус в шкурах вымерзал, теперь он терзает не знающих бани и смены белья людей, как нас в окопах когда-то терзала вошь, доводя до отчаяния и бессильной вялости. Бывшие кочевники, изнуренные физически, болеют, стесняются себя и своей неприспособленности к цивилизации, к современной жизни и, коли возможно, забываются лишь в пьянке, пропивая, по сути, все, что добудут.

Возле того, обского, современного становища слишком уж большое, свежее захоронение. Вокруг той угрюмой, всеми забытой избы на березах навязаны ленточки разных расцветок. Я видел в Японии, в Токио, на площади неподалеку от телецентра, подвешенных на специальных палочках куколок и таблички с какими-то знаками. Увы-увы, знаки эти экзотические ничего занятного и веселого в себе не таят. Каждая куколка, каждая табличка – это скорбный знак уничтоженной в зародыше человеческой жизни. Интересно было бы узнать, хоть приблизительно – сколько же куколок понадобилось бы в нашей стране, если б такой, не очень гуманный, но все же честный и сдерживающий бездумные страсти способ скорби был внедрен у нас?!

Так вот, у хантов все наоборот: ленточки – это благодарные знаки интимных отношений с одновременной застенчивой просьбой женщин к Высшему Судье – простить грешные дела и не карать за них шибко строго. Однако карать и судить хантов почти уже не за что, сама жизнь, склонность к вину уже покарала их – лишь на одной крепенькой березке был навязан пучок ленточек, выцветших на ветрах и дождях. На других же деревьях совсем свеженькие ленточки, хотя и шелковые или из синтетического нарядного материала, весьма и весьма реденькие, слабо обвисшие,

Астафьев Виктор Петрович Родной голос astafevvictor.ru
как будто случайно сюда ветром занесенные.

Есть у нас такая благородная черта, часто показушая – заступаться за бедные и угнетенные народы стран капитала. И еще за жизнь животных борцы мы неутомимые. Как рыдали на улицах, и по радио, и по телевидению, когда какой-то негодяй или негодяйка забыли собаку на Внуковском аэродроме!.. Ка-акой шум подняли, когда Раймонда Дьен легла на рельсы, преградив путь военному поезду, следовавшему из Франции в Африку, и за нарушение железнодорожных правил препровождена была в тюрьму; в каком-то тридевятиом государстве упрятали за решетку Джамилю Бухиред – так все возмущались, что сделалось совсем некогда припомнить о миллионах своих сограждан, погибших в отечественных концлагерях. А как мы жалели Поля Робсона?! Один мой знакомый сержант, прямо из госпиталя угодивший на север Пермской области за не совсем своевременный и удачный комментарий к сводке побед на фронте, даже стих сочинил в защиту Поля Робсона; бия себя в грудь кулаком, кричал он со сцены лагерного клуба: «Так приезжай же к нам, товарищ Робсон, и будешь ты свободен, как и я!»

Начальник «Усоляга» и «Ухталага» и прочие генералы и полковники плакали вместе с женами и детьми своими, слушая поэта с номером на спине так им жалко было заокеанского бедного певца.

Помню, как в кинотеатрах Игарки, в самый разгул ссылок и репрессий под звуки колыбельной, под умильные слезы детей и баб бывших кулаков и всяческого вредящего «элемента», на полотнище киноэкрана добрые советские люди передавали очаровательного негритенка, спасая его от кровожадного вампира-империалиста. В это время за город, в лесотундру, в неглубокие ямки, выбитые в вечной мерзлоте, везли и везли гробы, в том числе и детские, всех почти народов, мыкающихся и гибнущих на самом краю земли, в самом интернациональном городе той поры.

И еще помню, как летом на длинной, отлогой косе, на подмытых низких берегах нежно зеленеющих тальниками островов – Самоедского, Тальничного, Медвежьего – возникали островерхие чумы с синим, мирно качающимся над конусом чума дымком. Сюда, на острова, летом прикочевывали семьи совсем малых, ныне почти исчезнувших народов кето, нганасан и долган – ловить в Енисее красную ценную рыбу – осетров, стерлядей.

Дети природы – они были доверчивы до глупости, так нам, испорченным цивилизацией и бурными революционными преобразованиями людям, казалось в ту пору. С беззаботной, детской верой относились рыбаки ко всему, что окружало их. Набросают в песчаные светловодные лагуны пойманную стерлядь, осетров, пароход пристанет, гости попросят рыбы – махнут рукой, идите, мол, берите...

Бывало, заберут у них всю рыбу, до хвостика, – недоумевают: зачем так много взяли? Ведь на варю надо брать, потом можно еще добыть – у природы на всех всего припасено.

Рыбу на засольный пункт сдадут добряки-рыбаки, а тут шторм, к ловушкам выплыть невозможно, живут впроголодь, ждут, когда стихии успокоятся. Ягоды никогда не брали – захотелось ягод поесть, идут пощипать голубики, морошки, черники, смородины. Ничего они впрок не заготавливали – кочевники же. Олень, а значит, мясо, шкуры, жир, тепло – бежит за нартой и в упряжке нарты; зверь по тундре и по лесу ходит, рыба в воде бродит, птица по небу летает, куропатка по снегу бегают – вода и еда – вот они! Бери, пей, ешь. Дети необъятной мирной земли, они не знали, что такое браконьерство, воровство, драки, насилие, и долго не принимали «просветителей», явившихся к ним со «своим уставом» и привычкой заставлять всех жить по ихнему, как им казалось, шибко прогрессивному и передовому уму.

Судьбе было угодно свести меня с несколькими вепсами. С Анатолием Петуховым, писателем из вепсов, живущим в Вологде, я бывал в тайге, на рыбалке, в семье его, у матери и брата Евгения, и поныне работающего учителем в средней школе поселка Новленский, под Вологдой, на берегу Кубенского озера.

Народность вепсы обитала в совсем уж суровом, непроходимом болотистом краю меж южной оконечностью Карелии, северной частью Ленинградской и северо-западной окраиной Вологодской области. Здешняя природа не баловала щедротами жителей, тут все у нее бралось с великим трудом, упрямым и умением. И тем не менее мирные вепсы, которых я встречал, росли, крепки телом и, что совершенно естественно,

Астафьев Виктор Петрович Родной голос astafevvictor.ru
суровы характером, хотя тот же Евгений Петухов застенчив, деликатен, образован. На рыбалке же оба брата отходят, делаются говорливы. Рыбалку, природу оба любят без ума, и если б была возможность, так и не сходили бы с красивого кубенского озера, когда-то изобильного рыбой, да какой! – нельма, карликовый сиг (нельмушка по-здешнему), судак, лещ, истекающий жиром, щука что акула, окунь, будто жених – наряден и нахален, и совсем исчезнувший деликатес – снеток.

Анатолий Петухов – охотник, зверобой и следопыт, хороший писатель, рассказчик – заслушаешься. Несколько замкнутый в городе, на людях, на природе он надежен, предан товариществу до самопожертвования (что не раз я испытал на себе).

Но печален и даже скорбен он становился, когда рассказывал о своей любимой, мало кому известной, лесной родине – Вепсии, где была своя письменность, фольклор, ремесла, орнаменты, особый уклад жизни, тайные лесные чуда, загадки, мистика, суеверие – все-все было свое!

И ничего не стало.

Народ рассеялся, почти ассимилировался от невнимания, наплевательского к нему отношения, административного равнодушия и преступной руководящей безалаберности.

Многие годы по заросшим, разрушенным дорогам каждое лето настойчиво ездил и ходил в родной край Анатолий Петухов. Потом перестал ездить – не к чему. Загадили Вепсию, выжгли жилища ее, поселки и кордоны дикие туристы, браконьеры, шатучие людишки. Ныне они же отчисляют от пенсий своих и зарплат трудовые рубли на сирот, на разрушенное ими прошлое – храмы, памятники культуры, на могилы, мемориалы и прочая, прочая, общество «Милосердие» создают, энтузиастами и патриотами сльуют.

А что, если бы те же ленинградцы, вологжане, жители Карелии вместо того, чтобы в телевизоре маячить и себя хвалить, взяли бы да и отстроили то, что порушили, пожгли в той же хотя бы Вепсии, помогли восстановиться и вернуться в свои исконные леса, к древним очагам милой им родины. Где трудно, однако по-своему счастливо жилось этому маленькому, благородному, самоотверженно-трудолюбивому народу.

А что он таков, я мог убедиться, долгие годы наблюдая за Раисой Васильевной Петуховой – матерью Анатолия и Жени. Тихая, опрятная, она творила чудеса из всего, что попадает в руки, когда дело касалось пропитания. Никакой грибок, никакая рыбка, никакое перышко, шкурка, лапка, деревяшка, веточка не пропадали у нее даром, все шло в обиход и оборот.

Не уродились добрые грибы, она наломает каких-то опятчиков, белоножек, синюшек, все, на что мы, верхогляды, наступаем, соберет, изрубит сечкой, поместит в кадушку или туесок, засыплет укропиком, лесными травками, приправит чесночком либо перышками чеснока, которые чаще всего выбрасываются, зальет постным маслом, зимой подаст на стол – только ложки мелькают.

Принесут сыновья рыбу нельму – на балык ее, в пряное соленье; щуку – в печь – коптить; жир с рыбьих кишочек оберет, перетопит, потроха перемоеет, изжарит, мелочишку набросает на под русской печи – зимой уха из сушенки объеденье. Бойким на язык, современным интеллектуалкам поучиться бы семьи кормить и дом обихаживать у таких женщин, как Раиса Васильевна, а рыбозаводам и всяким пищеобрабатывающим предприятиям, превращающим добро в дерьмо, перенять бы в этом доме умение и крестьянские «хитрости», название которым – радение в труде.

И вообще поучиться бы у разогнанных крестьян всех народностей совестливости, опрятности, упорству в ведении хозяйства, бережливости ко всему, что живет, растет вокруг нас. К сожалению, уже совершенно больная, доживает век свой Раиса Васильевна не в родных лесах, не среди светлых озер и неторопливых речек, не среди песенного птичьего грая, а в казенной избе, под окнами которой дымит, грохочет несущаяся куда-то колесная и прочая техника. Но под теми окнами все равно каждое лето пестрели желтые цветочки, на задах дома зеленели овощи на махоньком, немудреном огороде.

Анатолий Петухов по зову крови и совести начал назначенную ему судьбой работу, скорее даже борьбу (без борьбы у нас никак невозможно) за воскрешение своего края и народа – пишет и печатает статьи, сколачивает из вепсов, разбродно

Астафьев Виктор Петрович Родной голос astafevvictor.ru
живущих по стране, общество активистов и патриотов для важного этого дела. И зная, как у нас приживается и пробивается всякое доброе начинание, какие препоны, пренебрежение, непонимание и даже сопротивление встретят они на своем благородном пути, все же желаю им крепости духа, терпения и многих сил для работы, которую без них и за них никто не сделает.

И еще об одной беде или нелепости, связанной с малыми народами, мне хочется рассказать.

В Эвенкии и вокруг нее как-то давно и последовательно уничтожается оленье дело – основы основ жизни северных народов. Не хватает пастухов, животных косят болезни, борясь за продовольственную программу, диких оленей варварски истребляют под видом заготовки мяса и шкур узаконенные заготовители – те же браконьеры, только еще более разнузданные и безответственные, поскольку не сами по себе они истребляют животных, а по заказу, государственному договору и за хорошие деньги.

И вот еще одно «мудрое» решение – разгородить леса и пастбища в Эвенкии, заставить неорганизованные стада оленей, как коров, пастись выгонно-привязным способом, ходить вдоль забора, не выедать и не выбивать как попало пастбища, быть всегда на глазах, не удручать добрых людей анархическим поведением и хождением по местности, обходиться вообще без пастухов, оставив их лишь в качестве наблюдателей и помощников во время отела – экая соблазнительная перспектива, на нее и денег не жалко экономная экономика все равно себя оправдывает. Однако боюсь, что оленя, как корову, на веревку не привязать – все же животное полувольное, да и веревки не хватит.

Все заборы, намеченные по плану, еще не загорожены, но с вертолета видно их ниточку на протяжении сотен километров – свежие, неожиданные, пугающие глаз. Эвенки, с некоторых пор настороженно воспринимающие всякие загороди, особенно в нехоженой, глухой тайге, примолкли, ждут худого дела от этого новшества, не проявляют надлежащего энтузиазма.

Вертолет садится на деревянную площадку в новом поселке оленеводов. Собаки сбежались, детишки идут-косолапят, народ из избышек, так-сяк стоящих, выглядывает.

Большой начальник прилетел, бригадира покликнули.

Пришел молодой, грустный эвенк, присел на крыльцо конторы, хмурится, прутиком себя по сапогу постегивает. Большой начальник спрашивает: «Почему ничего не делаете! Сидите? Спите? Где олени?». «Там», – махнул на редкий лиственничный лес бригадир. «Где там? Где там?» – загорячился большой начальник. «Не знаю», – тихо уронил бригадир. «Да как же это ты не знаешь?! Ты зачем здесь?» – «Не знаю зачем...»

На крик перешел большой начальник. Бригадир и вовсе умолк, опустил голову, прутиком чертит по земле. На лице его полное ко всему равнодушие и тоска, безмерная тоска. Мне показалось, он через какое-то время вовсе слышать большого начальника и внимать ему перестал. Привык. Ко всему привык, Обтерпелся. Собаки вот напугались, отпрянули от крыльца, улеглись, подальше от греха, и тут же задремали, изредка, не открывая глаз, терли себя лапой по носу, прядали ушами, стряхивали редких, совсем их мало беспокоящих комаров. Большой комар и тот улетел следом за оленями, которые, игнорируя новаторский забор, ушли куда-то, бродят себе, едят мох и грибы, спят и размножаются, пока еще без искусственного осеменения, коим измучили, унизили, довели до вырождения обобществленный рогатый скот.

Так мы и улетели ни с чем из неряшливо, как попало построенного поселка, с лужами меж домов, обнажившимися кочками, помойками подле крыльца, пнями-выворотнями, щепой, корой, разбросанным повсюду лесом, досками, недостроенным общежитием для специалистов по оленеводству, которые должны будут жить и наблюдать, как осуществляется программа по науке, по модели, созданной не то в Якутии, не то в Ленинграде, может, и еще дальше от здешних лесов, пастбищ оленей, и коренных жителей – эвенков, потерявших всякую веру в новое хозяйствование, отстраненных от векового кочевого уклада жизни, той жизни, которой они прожили века, доказали свою жизнеспособность.

Астафьев Виктор Петрович Родной голос astafevvictor.ru

Отупели они от нахлынувшей на них информации насчет новейших достижений и передового опыта, от указаний и криков начальства, от плохого снабжения – дают по банке тушенки на неделю, на семью, крупы, лапши, сахару, оленей есть не разрешают, рыбу ловить не дают, после охотничьего сезона ружья изымают – в лесу ничего не добудешь. Ребятишки все так же, как и до войны, чумазы, но худы, взрослые курят, скрипуче кашляют, плюются...

Снова вспыхнул туберкулез по Северу, сократились средние сроки жизни северян до такой отметки, что и называть вслух цифру стесняются. Зато очень рьяно во всех газетах заступаемся мы за американских и австралийских аборигенов – вот ведь какая у них вопиющая несправедливость – средний уровень жизни американцев повысился до семидесяти лет, а бедные аборигены и индейцы живут всего шестьдесят.

Очень уж любим мы считать кумушек за океаном, но лучше б на себя оборотиться и с толком расходовать те же деньги, ухряпанные на заборы, поселки, моторки, на всякие чаще всего вовсе ненужные руководящие бумаги, институты, которые изучают проблемы Севера, в том числе и медицинские, но не лечат больных. Никто не помогает делом северным народам, но все поучают, наставляют. По северным землям бродят экспедиции каких-то наук, уродуют тундру, гробят леса и растительность, истребляют птицу, зверя, рыбу, портят водоемы, оттесняя все дальше и дальше в горы, в голые пространства коренные народности, губя их пьянством, развратом и безразличием к их судьбе.

Сами же представители этих народностей, выбившиеся на должности, на руководящие посты, ведут себя отчужденно от соплеменников, устраняются от них, знать ничего не хотят об их бедах и нуждах, по сути, ведут себя предательски по отношению к собратьям своим и болезненно реагируют на всякие замечания, на всякое правдивое слово о жизни и делах родного края. Стоило писателю Алитету Немтушкину приподнять немного дымовую завесу над жизнью родной земли и родного эвенкийского народа, коснуться больных вопросов хозяйствования, как поднялись кабинетные бури, послышались телефонные вопли, полетели письменные протесты; «Клевета! Очернительство! Непонимание национальной политики! Недооценка новой экономической платформы! Антиперестроечные настроения! Не пускать Немтушкина в Эвенкию!»

Демагогия, она и в тайге, и в тундре той же масти, того же тона и окраски, что и в промышленных гигантах, в столицах и по-за ними – бюрократ везде одинаков и принципы борьбы у него всюду одинаковы, давно испытанные не пущать и давить!

О-о-ох, вспоминали мы и вспомним, еще не раз вспомним, очень скоро вспомним горькую русскую пословицу: «Что имеем – не храним, потерявши плачем...»

В то время, пока кипели и кипят страсти в газетах, журналах, залах заседаний, в застольях, в служебных кабинетах, в домах и чумах местных жителей, уже идут по всей эвенкийской тайге изыскательские работы проектировщиков. Ошеломляюще безграмотная туруханская газета «Маяк Севера» в трех номерах печатает очерк одного из «покорителей» природы, забыв поставить его фамилию. «Покорителя» этого не трогали и не трогают ничьи вопли, стенания, всевозможные высказывания, статьи, собрания, он с умилением, с поползновениями на лирическую литературу пишет как о деле, давно и окончательно решенном, о труде проектантов: «Многоводная Нижняя Тунгуска, пробив своей колоссальной энергией русло, ущелья в крепких скалах... В одном из таких ущелий, в 120 километрах (есть и еще один вариант – 36 километрах от устья) намечается построить небывалой мощности Туруханскую ГЭС – 20 миллионов киловатт. В половодье Нижняя Тунгуска в нижнем течении несет около 50 тысяч кубометров воды в секунду. На „ура“ эту реку не возьмешь!»

Вот так вот! Брала, брали на «ура» Каму, Волгу, Дон, Днепр, обуздали все более или менее приметные реки страны, погубили Арал, Иссык-Куль, обезобразили Азовское море, Каспийское море, нанесся ему сокрушительный, штормовой удар под Кара-Богазом. А теперь вот новые времена, новые песни и «производственные» отношения.

Да только плохо верится в порядок и деловитость отечественных гидростроителей. При громадной удаленности и недоступности Нижней Тунгуски, отсутствии людских и прочих ресурсов «стройка века» влетит в такую копейку, такой штормовой удар и приписками может кончиться, что и представить это трудно людям, не видавшим,

Астафьев Виктор Петрович Родной голос astafevvictor.ru
допустим, окончания строительства Камской ГЭС. А ведь она – птичка-невеличка в сравнении с Туруханским коршуном, который «искогтит» не только весь север нашей страны, но может пустить с молотка всю отечественную экономику – надо себе только вообразить расходы на одно лишь строительство двух- или трехтысячекилометровой железной дороги Красноярск – Лесосибирск Туруханск. Стройка эта планируется ради стройки, стало быть, временной «транспортной схемой», как ее уклончиво и «грамотно» именуется безымянный автор очерка «Первая палатка», суля «высокую экономическую эффективность нового гидроузла».

«Свежо предание...» Такую же вот, не просто высокую, а «сверхвысокую экономическую эффективность» нам сулили от БАМа, песни про это и поэмы слагали. Ныне все умолкло. Ржавеют на БАМе рельсы, и глашатаи-славословы ждут не дождутся: что бы еще и где бы еще прославить. Но пока они соберутся из столиц, пока снарядутся на Угрюм-реку – жди, если дождешься, хочется уже сейчас славы, шума, похвал за дерзость, героизм и разворотливость.

Вот и витийствует на серых полосах «Маяка Севера» свой, доморощенный патриот-гидростроитель. Не ведая стыда, о «выгодах» поет и ни слова о том, сколько бед стране и народу нашему нанесли героические преобразователи хозяйства нашего и покорители пространств. Ни нашествия монголов, ни многочисленные войны, бушевавшие на полях России и Украины, даже такие разорительные, как гражданская и Отечественная, не принесли нам столько бед, такого урона, как наши «первопроходцы» и следом за ними ордой кочующие гидро- и всякие прочие ретивые строители.

Разумеется, они родились, возникли и распоясались не сами по себе – их произвела система нашего отечественного хозяйствования, система шапкозакидательства, безответственного планирования, система оголтелого словоблудия, в котором часто тонут и здравый смысл речей, и польза дела вперед, вперед, не считаясь ни с потерями, ни с запретами, ни с мнением народа, – все для победы! А – «за ценой не постоим»...

Есть слух, что безумный проект – хотя гидростроители и сделали уступки, посулились на сколько-то метров снизить тело плотины и чуть поубавить водохранилище – будто бы не утвержден «в верхах». Пока! Но освободившиеся от строительства Курейской ГЭС землепроходцы ведут в Туру дорогу, шевелятся в лесах какие-то экспедиции, едут разные комиссии в Эвенкию, шныряет по начальству юркий, пробивной народ, и тихим, умиротворяющим валом катится: «Да, будем строить, но Средне-Енисейскую ГЭС. Чисто будем строить. Уступами. Никакого вреда, полная выгода стране, народу, Сибири...»

И опять – в самом красивом, самом недоступном месте, зато – створ!

Ах этот створ, так бы его и переэтак! Ведь упрятал же Создатель дикие ущелья в недоступные, в неприступные дали. Добрались, забрались! «Человек проходит как хозяин...»

Ну и хозяин! Да-а! Еще раз и который раз ошиблась небесная канцелярия, опечатку сделала природа, назначив двуногого зверя хозяином прекрасной планеты, достойной более разумного и вежливого сына, распорядителя и жителя.

Ведь казним, обираем, отламываем куски, запоганиваем моря, реки и пашни не одни мы – со всех сторон, со всех углов ползут по земле безумные и бездумные твари, и за ними тянется черный, немой след – сожженная земля, темное небо, мутные воды, трупы птиц, животных и свои, человечьи, трупы, все чаще и чаще – трупики, изуродованные житьем в поганстве, в пьяном и кровавом угаре, – дети, наше будущее. Земля, планета дошла уже до инвалидного состояния.

Остановись, отринь гордыню, спроси себя, человек, пока еще не совсем поздно: зачем ты явился на этот свет? Жить или в безобразиях, во зле и хамстве подышать пришел на землю? Или помутившийся разум и свету хочет мутного, непроглядного, поганая жизнь и кончины поганой хочет?..

* * *

Некто Терентьев, «инженер-гидростроитель», шлет всем газетам, писателям и журналистам толстые письма, обвиняет их всех вместе в невежестве, отсталости и тупости...

Он, Терентьев, и его товарищи-гидростроители хотят нам всяческих благ, процветания, а мы, неразумные, безграмотные обормоты, никак того не поймем и понять не можем, а может, не хотим.

Передо мной другой Терентьев, Андрей, монтажник, строивший Камскую, Боткинскую, Зейскую и еще какую-то ГЭС. Мы вместе с ним начинали «вход» в литературу, встретились в 1953 году в знаменательный день – день смерти Сталина. Именно в этот день по вызову Пермского (тогда – Молотовского) издательства угораздило меня рано утром отправиться поездом в областной центр, редактировать свою первую книжку. Вагоны старого, еще «камарного» образца, то есть полукупейные, в поездах с тридцатых годов зовущиеся «литерными», были почти пусты. Одна тощая старушка богомольного вида лепилась за столиком и не моргая смотрела прямо перед собой. На станции Лямино, первой от города Чусового остановке, в вагон вошел молоденький лейтенант, и поскольку утренней информации по радио я не слышал, то поинтересовался:

– Что там сообщают?

– Скончался товарищ Сталин, – тихо произнес младший лейтенант.

Бабушка, видать, углядела скорбь на наших лицах, моргнула раз-другой и спросила:

– Что случилось-то?

– Товарищ Сталин умер, бабушка.

– Господи, Господи! – закрестилась старушка. – Опять голод будет...

Пермь – город рабочий, суровый, смертей и горя много на своем веку перевидавший, еще более посуровел от траурных флагов. На улицах малолюдно, по конторам плач. Плакали в книжном издательстве, плакали в отделении Союза писателей, возглавляемом Клавдией Васильевной Рождественской. Молодые и старые литераторы плакали, литературных дамочек отпаивали водой. И скуластенький, кучерявый паренек силился из себя выжать солидарную слезу, но у него это неуверенно получалось.

Траурный митинг был краток, все желающие выступить после первой же фразы махали слабой рукой и, шатаясь, шли на свое место – не могу, дескать, говорить, повержен горем.

Кучерявый парень и оказался Андреем Терентьевым, уже тогда почти глухим от контузии. Он был холост, и у него велась квартира в деревянном доме, где и написал он свои первые очерки и повесть под названием «Младший лейтенант». С нами был еще один парень, москвич, только что окончивший Литературный институт, отбывающий практику в многотиражке гидростроителей и попутно, на общественных началах, работающий в альманахе «Прикамье». Парень этот был из тех, которые считают, что ежели собралось двое мужиков, да еще к тому же холостых и при них нет бутылки, то и не мужчины они вовсе, а так, недоразумение природы какое-то.

Во всех магазинах и ларьках спиртное было категорически изъято и убрано до более радостных времен. И лишь возле вокзала «Пермь-1» громогласная здоровенная девка в замаранной и рваной от ящиков куртке бойко торговала «огнетушителями» – темными бутылками с красным «портвейном». Была эта девка изрядно поддатая, никакие скорбные вести до ее ларька еще не докатились.

– Во у меня портвей так портвей! – кричала она. – Нарасхват идет!

– Тихо ты, дура! – сказали мы девке, загружая портфель редактора бутылками. – Будешь хайлать, прикроют тебя...

– Кто прикроет? Кто? Я так прикрою! – И замахнулась на нас страшной бутылкой девка.

На Камской ГЭС мы подались в рабочую столовку, поскольку у холостяков пожрать дома нечего. Взяли супу, котлет, винегрету, сидим себе, мирно беседуем, и перед нами вино.

Астафьев Виктор Петрович Родной голос astafevvictor.ru

– Вон они! Вон они! – вдруг раздался визг в столовой. – Вино пьют! Народ горюет, а они... они с радости пьют.

И тут мы обнаружили, что столовая наполнилась народом, в большинстве своем заплаканным, и протест одного из трудящихся обращен в нашу сторону. Однако мы не стали обращать на все более густеющие, истеричные крики внимания, и дело закончилось тем, что возле нашего стола оказалась «делегация» и заявила, что, ежели мы не прекратим «безобразия», нас будут бить и за последствия никто не ручается. Поразительно было то, что часть «делегации» была пьяна, и куражились на стороне выпившие люди от kloкочущей государственной скорби да еще оттого, что самим негде добавить. Мы возмутились, стали молодецкой стеной и спросили, кто тут собирается нас бить? Давай, попробуй!

На крик пришла знакомая Андрея и попросила нас от дураков подальше идти домой.

Мы проговорили всю ночь в уютной, теплой квартире Андрея и с тех пор подружились. Литература не стала жизнью Андрея, главное у него звание рабочий – так и закрепилось за ним, но он пописывал и продолжает писать, хотя и мешает ему абсолютная глухота. При Твардовском Терентьева печатали в «Новом мире», вышло несколько его книг в разных издательствах.

Прошлым летом он объявился в Красноярске, в госпитале для инвалидов Отечественной войны. Подлечился, выписался из госпиталя и улететь в свою Зею не может. Поскольку глух, то кричит в разные оконца, документы свои сует, а на него ответно гаркают: «Вы на нас не орите!»

Увез я его в аэропорт Емельянове, по «инстанциям вошел», но ответственные лица из авиаинстанций попрятались кто куда, потому что народу – непробиваемо. Кое-как все же уговорил я знакомых женщин из службы аэропорта отправить инвалида войны на самолете хотя бы до Иркутска.

И все время, у меня дома, в дороге, в аэропорту, давний побратим мой по войне и литературе внушал мне, чтоб я не писал о войне «всю правду», потому что она такая позорная, что не надо ее знать нашим детям.

Андрей на два года старше меня и хватил войны на всю катушку. К его голосу стоило бы и прислушаться, но он и про гидростанции не велел писать. «Они нам необходимы, и цель оправдывает средства, да и строить „чисто“, если захотим, мы можем. Зейскую ГЭС построили безвредно и „чисто“». Правда, тут же и добавил, что Зейское водохранилище всего 70 километров протяженностью и в стороне оно от пашен, полей и городов.

Я долго его донимал давно мучающим меня вопросом: в чем же все-таки дело? Почему мы по разные стороны «баррикады», ведь в одной стране живем, один хлеб едим, за общее дело страдали и страдаем?

– Ларчик, как всегда, открывается просто, – вздохнул Андрей.

И рассказал, что после безобразного завершения строительства Камской ГЭС выдавали им премии и начальнику участка вырешили семь тысяч рублей, а ему, бригадиру монтажников, всего 75 рублей. Он унес их начальнику участка и велел подсоединить – «до кучи». А тот ему заявил, что он – честный коммунист и в подачках его не нуждается.

Сколько, какую премию получил Наймушин – начальник строительства, главный инженер, чины и шишки из высоких контор, нам знать не дано. Вот тебе и «рычаг» гидростроительства. Один из главных. Возможно, эту премию уже и отменили, но, значит, придумали, изобрели и действуют другие «рычаги». Материальная заинтересованность это у нас зовется.

Недавно я вычитал и выписал цитату из Карла Маркса: «Природа в такой же мере источник потребительских стоимостей, как и труд, который сам есть лишь проявление одной из сил природы, человеческой рабочей силы» (К. Маркс, ф. Энгельс. Собрание сочинений, т. 21, с. 33). И еще: «При капитализме природа всего лишь становится предметом для человека, всего лишь полезной вещью; ее перестают признавать самодовлеющей силой, а теоретическое познание ее собственных законов самовыступает лишь как хитрость, имеющая целью подчинить природу человеческим потребностям, будь то в качестве предмета потребления или в

Астафьев Виктор Петрович Родной голос astafevvictor.ru
качестве средства производства» (там же, т. 46, ч. 1, с. 387).

Мы все время, в особенности во времена Хрущева, были охвачены зудом догнать и перегнать проклятых капиталистов, которые расходовали и расходуют четыре килограмма сырья на производство килограмма продукции, а мы расходовали и расходует сорок! Теперь можно потирать руки – по части варварской эксплуатации природы и своего народа мы, несомненно, обогнали капитализм и ушли так далеко вперед, что теперь они нас догнать никак не могут, хотя и стараются изо всех своих могучих сил.

* * *

Что за закаты на Виви! Долгие, нежные, разливыстые. Вечерами сидел я, усталый, с разбитыми ногами, возле избушки на скамейке, глядя в заречные дали. Там, в отдалении, темнела седловина, покатою катушкой спускаясь к какой-то речке, притоку Виви. Каждое деревце, каждая лиственка на седловине были четко пропечатаны на полотнище алой, прозрачной зари. И нежная прозелень, изливающаяся в небесную голубизну, делала ту ясную даль еще более глубокой и тихой.

Ничто не нарушало вечных пространств и вечерней тишины. Лишь за избушкой, в кустах смородинника и тальника, одинокая, застенчивая пташка роняла нежные звуки: «ви-ви, ви-ви», – так мне и открылось название «нашей» речки. Купец, вырвавший себе яму в яру, чтобы меньше донимали комары, ворочался в земле, смахивал лапой комаров с морды и ушей, отряхивался и, заспанно аеая, пялился на меня – все, мол, спят, а тебе чего не спится? Да неугомонные чайки кричали и вертелись над водой – ворох белых птиц все сгущался, крик делался пронзительней. Чайкам удалось отбить от табунка и отошать от матери молодого глупого крохалю, и пока они его, нырлящика прекрасного, но еще бескрылого, не добьют, не растеребят, не расклюют – не отступятся.

Редкие когда-то, большие жадные птицы – вороны и чайки – становятся теперь все более агрессивными; исчезает корм в лесах и реках, медведи и те делаются побирушниками и подбиралами, питаются дохлой рыбой на ведрохранилищах, поедают выброшенные тушки ободранных зверушек вокруг становищ, часто вламываются в охотничьи избушки и разоряют их. В прошлый приезд, будучи на притоке Виви – Янгоде, я насчитал шестерых медведей, шляющихся в окрестностях нашего стана, много огрызенных скелетов соболей валялось вокруг избушки. Охотники тоже стали себя неряшливо вести в тайге, не говоря уже о туристах, «гостях» и разных экспедициях, временно тут проживающих и работающих.

Вечер успокаивал душу, угасающая заря навевала грустные думы, и, глядя на Виви, все думал я о судьбе сибирских рек – Лене и Енисее. Есть еще и такая река – Мана, по красоте и величине она может сравниться с Чусовой-рекой и со многими красивейшими горными реками нашей страны. Она течет встечь Енисею и верстах в пяти впадает в него выше моего родного села, сделав перед этим шестнадцатикилометровый крюк. Возле порога и места, названного Соломенным, стоит гавань, как ловушка, как удавка реки. Стоит с тридцатого года. Тогда и начался на этой реке молевой сплав, и продолжается он по сей день. Уже обрублено все, уже хлам плывет по сравнению с тем лесом, который рубили в первые пятилетки, уже не бывает летами воды в реке, и из-за нехватки рабочей силы загоняют в реку бульдозеры, то с разрешения, то тайком пихают древесину к гавани, где она, обсохшая, преет до осенней воды.

Река убита, испорчена, доведена до полного инвалидного состояния. Почти исчезли по богатым ее берегам звери и птицы, рыбы местной нет. Потолкавшись возле плотины Красноярской ГЭС, пришедшая с низовьев Енисея рыба веснами заходит в Ману, чтоб освободиться от икры. Вымечет ее где-нито, потом плывущим лесом, водометным катером все эти жалкие нерестилища размичкает, размое, уничтожит. Нынче на Мане пескарюймаешь – радость, а в тридцать четвертом году я, десятилетний парнишка, возле кордона Сосновка за вечер примитивной удочкой-обманкой налавливал ведро хариуса, кормил нашу доблестную семейку досыта рыбой.

Что за бедствие, что за напасть на нашу землю? И все «борются» за чистоту и сохранность рек, лесов и атмосферы. «За землю, за волю, за лучшую долю», как пели мы в детстве.

Но зачем же бороться? Надо вести себя по-хозяйски и соответствовать великому

Астафьев Виктор Петрович Родной голос astafevvictor.ru
званию – хозяин. И только. Не пили сук, на котором сидишь, не вреди себе, положи
конец самоистреблению, ибо, мордуя природу, пуская ее с молотка, сам ты себе
ведь подписываешь смертный приговор...

Вот и вечер наступил. Прохладный, звездный. Потемнела тайга, близь и даль
сомкнулись. Стоит тайга недвижно и монолитно. Унялись чайки, только два деревца
на седловине еще видны и догорают бездымно в едва тлеющем пятнышке зари, да
речка внизу пошумливает, журчит, наговаривает сама с собой. Ей скоро отдыхать,
скоро под лед уходить, до весны стихнуть, вот и хочет она наговориться,
наплескаться, пожить вольной, беззаботной жизнью. Она не может знать, что где-то
далеко-далеко, в тесных городах, в умных конторах, ей, притоку Нижней Тунгуски,
тоже подписан приговор, и все, что плавает в ней, шуршит над нею, цветет и
зеленеет, должно вместе с нею погаснуть и умереть.

«Я враг небес, я зло природы, и видишь – я у ног твоих», – каялся страшный
Демон, представая в облике человеческом перед земной челядью и перед любимой
женщиной. Что же делать нам? Перед кем каяться? Кому и как молиться о твоём и
нашем спасении, светлая речка?

«Вечно живи, речка Виви. Птичка виви, песню ей пой», – как обычно, на природе от
расслоделости сердца, от умильности и отдаленности бешеной городской жизни
складывалось в моей голове что-то душеспительное, благодарное, похожее на
песню, но дальше первых строк и жалостных сердечных звуков дело не шло. К
нежности и грусти примешивалась тревога, сбивала настрой души.

И потом, когда над головой вертелся, гудел пропеллер вертолета, машина плыла над
горами, лесами, и ничего там, внизу, не менялось, все было как было: дали,
перевалы, реки, речки, озера, долины с ленточками вечных снегов, недотаявших
льдов, все повторялось, как заклятье, как стон изболевшегося сердца, как
просветленная молитва грустно притихшего разума: «Вечно живи, речка Виви!..
Речка Виви, вечно живи...»

Лес не шумит, лес стонет

Из незаконченной статьи

Каждый человек живет по-своему и, наверное, каждый по-своему представляет себе
конец света – так загадочно и красиво для русского уха звучащее слово
«Апокалипсис», слово греческое, молвленное и писанное отшельником-монахом
Иоанном Богословом на острове Патмос в глубокой и беззвучной каменной пещере,
буквально называется оно «Откровение Иоанна Богослова о конце света». Сейчас эта
обитель является приделом древнего патмосского монастыря, и монахи пробили в
пещере отверстие, точнее сказать, отдушину наружу – мокнет от человеческого
дыхания и рушится камень, от дыхания и от слез. В закутке пещеры, на выступе,
лежит книжечка в вишневом переплете, даже и не в переплете, а между двух
пластушинок крашеной кожи, наверное, телячьей, стянутой сухою жилкой, тоже,
наверное, телячьей. На книгу можно только глазеть, дотрагиваться до этой
всечеловеческой реликвии нельзя – слишком грязны и липки от грязи и крови руки
человеческие. На уступе горит негасимая свеча, и колеблется, мерцает ее свет от
сырости и смрада, выделяемого ртами туристов, толпами клубящихся в монастыре и
вокруг него.

В монастыре, в хранилище древних рукописей и книг, в скромной витринке лежит
лоскуток кожи, и на нем едва различимы, чем-то розовеньким писанные, знаки – это
послание нам от людей или земных существ, только-только овладевающих
письменностью и еще не имеющих бумаги.

Послание не прочитано и едва ли будет прочтено – слишком далеко ушло, уехало,
ускакало беспечное человечество из тех «безграмотных веков», и вот уже на
древнеславянском славяне не читают и не говорят. Японцы ведут две программы по
телевидению, ибо торопливая молодежь не желает знать и пользоваться громоздким

Астафьев Виктор Петрович Родной голос astafevvictor.ru
языком своей страны. Мне посчастливилось слушать Омара Хайяма и Данте на том языке, на котором и которым они творили – это совсем другие стихи, другие поэты, чем те, которых мы читаем и изучаем в переводе – у древлян глубже и чище дыхание и ничем еще не загроможенный звук слова, мелодия стиха. Данте, изгоняемый из своей родной Флоренции, мог слышать вослед лишь проклятия, свист и звук барабана. Современные вольнодумцы, изгоняемые идеологическими праведниками, оглушены звуками моторов и ревом возмущенных людских стад.

Итак, древняя рукопись, послание к нам, составленное из незнакомых знаков, составленных в слова, не прочитано, но есть предположение ученых, что эти почти бесцветные ниточки знаков содержат послание нам вечного мира, добра и веры в Бога. А что же еще могли желать друг другу существа, еще не озверевшие от войн, не оглохшие от прогресса, неискаженным и незамутненным сознанием. Пожелание любить, беречь землю, которую мы травим, жжем, тогда еще возникнуть не могло. Древляне еще не понимали, как можно кусать грудь кормилицы-матери, перерезать ей горло за то, что она верит в своего Бога или же она другого рода-племени. Древляне не понимали, не могли понять, а отшельник-монах уже понимал и, размышляя о конце света, предостерегал нас от безумия, а предостерегая, подавал надежду на будущую, разумную жизнь, ибо только в святом разуме и вечном созидательном труде и молитве есть спасение человека и бессмертие его.

Я сижу на берегу речки Сочур, притока Бахты, впадающей в Енисей, и открывшийся предо мною пейзаж заставляет усомниться в надеждах, оставляемых нам не только Иоанном Богословом, но и многими гениальными умами тех, кого изредка Бог посылает нам и спасает от повального истребления дикарями и безумцами, проповедующими счастливое будущее без Бога и внушающими незрелому человеческому разуму вечную борьбу с тем и с теми, что и кто его окружают.

Мы вступаем в третье тысячелетие. Доживем ли, достигнем ли, перевалим ли?

На исходе первого тысячелетия человеческая поросль, горстка людей безграмотных, только-только различившая тьму, чтоб оглядеться, посмотреть, что за нею, только-только научившаяся строить корабли и отважно на них плавать, хотя и возле ближних берегов, однако хорошо уже умеющая делать вино и пить его, сноровисто кующая оружие и употребляющая его на ограбление ближних земель, начала проникать в уже и отдаленные, человечество это, ютящееся по берегам Средиземного и примыкающих к нему морей, но испугавшись своих тяжких грехов, ждущее второе пришествие Христа и Страшного Суда над собою, впало в страх. Заметьте, не в раскаяние, не в смущение, а в страх!.. И началось такое грехопадение, пьянство, праздность, блуд, и люди позабыли не только, как строить жилища и корабли, они разучились работать на земле, плавать, а ведь плавали уже вокруг Африки, умели воздвигать храмы, дворцы, овладевали первыми навыками письменности, достигли больших высот в искусстве и не только культурном и прикладном, но даже и в духовном развитии.

И вот все остановилось, все обмерло от страха и душевной смуты. Процветало лишь виноделие, и страшная смертность от кровосмешения опустошала когда-то густонаселенные берега морей и материка. Многие подались обратно в пещеры, долбя в мягком туфовом камне дырки для укрытия. Еще не так давно мирные кочевники, скотоводы и земледельцы убегали в глубь Африки, Месопотамии, Оттомании от соседних воинственных племен и народов, селились в каменных пещерах и звались троглодитами. И троглодитами сделались и завоеватели, и завоеванные народы.

Но конец света не наступил. Страшного Суда не случилось. И человечество, медленно и неохотно просыпаясь, приходило в себя после длительного обморока. Из замечательной книги замечательного писателя Стефана Цвейга, который не стеснялся называть себя «жалким подражателем Достоевского», – «Звездные часы человечества», – кто интересуется, сможет узнать, что пробуждение, названное Ренессансом, началось с возрождения искусства, прежде всего живописи, и путешествий. Кругосветное путешествие Магеллана, потрясшее человечество, возбудило в нем дремлющие силы, жажду открытий и познаний.

Да, вновь открытые земли и материка раздвинули не только горизонты человеческих познаний, жажду обновления, но и жадность к обогащению за счет открытых земель, к грабежу, насилию, истреблению богатств, целых народов, и все это закончилось позорнейшей страницей истории человечества – рабством.

Да и закончилось ли? Оглянитесь вокруг, вдумайтесь – рабство приняло более

Астафьев Виктор Петрович Родной голос astafevvictor.ru
изошренные, более громоздкие и хитромудрые формы. Человек на исходе второго тысячелетия сделался более зависим по сравнению с древлянами – от законов, творимых в защиту беззаконий, от прогресса, без которого он не может сделать и шагу, от тех, кто властвует и заставляет погибать в войне аа властелина, от тех, кто девяносто процентов Божеских собратьев своих заставляет выполнять работу не по охоте и по душе, а против воли и желания своего. И чем дальше, том больше плоды труда употребляются против него же, человека, назначены на истребление всего живого на земле и в первую голову самого производителя – это ли не крайняя форма рабства? Это ли не главное противоречие нашей современной жизни, опасно и настороженно влекущейся к третьему тысячелетию. Нет, нет, я имею в виду не самую оболваненную, в смрадный, смертный угол загнанную русскую нацию или народы, населяющие затурканную, самое себя не осознающую Россию. На всех пяти материках нашей планеты идут те же губительные процессы самоистребления, что и во взлохмаченной, изнасилованной вдоль и поперек, бессчетно обчисленной, обманутой, себя уже почти позабывшей несчастной родине нашей.

Мой близкий знакомый, долго живший в Африке и Индии, редко ввязывающийся в споры о свободе, равенстве и братстве, однажды все же сказал по телевидению расшумевшейся молодежи, что он видел в жизни своей одного лишь свободного человека – это был индус, на нем была набедренная повязка и в руках половина сушеной тыквы – посуда для еды и воды. Все!

Я склонен согласиться, что именно так оно и есть, ибо сам бывал в охотничьих избушках по два-три дня, от силы неделю могу наслаждаться первозданной тишиной, близкой к природе жизнью, но потом тянет уже и радио послушать, телек посмотреть, газеты почитать, окунуться в атмосферу шумного, проклятого города, в котором когда и истинный-то белый свет – дети уже и не знают, и какое небо над головой должно быть – не ведают, но они рано знают, отчего чешется и краснеет тело, почему душит астма и беспрестанно болит голова, им все еще сдержанно говорят, что в городе нашем, да и во всей стране смертность превышает рождаемость и что это вот и есть конец нации, вырождение народа и исчезновение, уход в небытие, как каких-нибудь полудиких печенегов.

И не надо впадать в недомыслие тех, что ждали Страшного Суда и пришествия Христа. Суд идет уже давно, и вершим мы его сами над собой, никакого нам Христа не надо, да Он уже давно и отвернулся от исчадий Своих, лишь порой грозно напоминает о Себе, карает за тяжкие грехи, то безбожный город целиком с земли сметет, то в геенну огненную целую страну свалит, то содрогнется от военного громовержения, вроде самоизбиения грамоте обученных, но разумом так и не окрепших чад Своих.

Когда-то мне довелось быть в международной компании миротворцев вместе с академиком Сагдеевым – большим знатоком положения дел на земле. Гуляли миротворцы в роскошном банкетном зале и, несмотря на густо шныряющих и что-то для понта вкушающих парней в черных костюмах – главных миротворцев от КГБ, вели по мере налития все более громкие и откровенные разговоры. Вот в порыве откровенности я и спросил у академика Сагдеева вроде как игриво: «А скажи-ка, дорогой академик, сколько нам еще осталось?» И совсем не игриво, грустно академик ответил; «Если мы, все земляне, сейчас, с завтрашнего дня начнем не понарошку, но всерьез разоружаться и одновременно лечить небо и землю, то протянем еще...» – «А если не начнем?» – «Ну, тогда лет сорок, от силы пятьдесят пребудем еще в относительном равновесии, затем начнется необратимое – мы переступим ту черту, за которой уж только неведомые силы...» – «Это что, Бог?!» – «Пусть будет Бог, только неведомые силы будут сохранять землю и жизнь на ней, может, 400 тысяч лет, может, лет сорок, может, четыре года...»

Со времени того разговора прошло восемнадцать лет. Сагдеев, женившись на американке, уехал за океан – там воздух чище и колбаса дешевая, а мы пока живем, но... может, уже доживаем? Кто ответит?..

Родной голос

летом 1928 года в устье Губинской протоки вошел пароход «Тобол» и бросил якорь.

Астафьев Виктор Петрович Родной голос astafevvictor.ru

Штормило. За каменным мысом, замыкавшим вход в протоку, гуляли громадные волны-беляки, яростно хлестали они о камни, с железным звоном перекачивали гальку. Но это там, на Енисее. Здесь же шторм едва ощущался. Медлительные, неуверенные волны только чуть покачивали «Тобол».

Северный ветер-низовка угнал тучи и облака. Незакатное солнце светило упрямо, но не знойно. Табуны непуганых уток проносились над «Тоболом» и падали на протоку и озера. А озер этих поблескивало множество и на крутобоком берегу, и на острове Самоедском. Впоследствии он получил имя Полярный, а заодно с ним так необычно стал называться и первый в истории Севера овощеводческий совхоз.

Близко к протоке подступили леса, приземистые, покореженные суровой стужей, влажной почвой. С северной стороны ели, лиственницы и березки были почти наги. А под этими кривобокими узловатыми деревцами с поврежденной сердцевинной буйно клубились мелколиственные карликовые березки, синели ветки голубичника, чадил одуряюще багульник, отливал на солнце жестяной листвой брусничник и накалялась северная ягода морошка. Прижатые ветром к кустам, гудели тучи комаров и многоголосо кричали долгоногие кулики.

Заполярье. Почти неизведанная, доступная только путешественникам, рыбакам да охотникам земля. Земля нетронутая, скованная мерзлотой. В самый разгар лета отвороти лишь пень или слой мха на берегу озера, не поленись и увидишь эту мерзлоту, чуть рыжеватую, окропленную семенами трав и ягодников, которые никогда не прорастут, если не «осадить» ниже мерзлоту.

Вот сюда-то и приплыла экспедиция на пароходе «Тобол». Приплыла и твердо обосновалась на берегу Губинской протоки, глубокой и спокойной в любой шторм. Экспедицию возглавляли профессор Урванцев и инженер Рюбин. Они промерили входы в протоку, место стоянки кораблей, проделали множество других работ и заложили основание будущего города – порта Игарки, самого северного, самого «деревянного» города, о котором суждено было узнать всему миру и которым гордились все советские люди. Город получил имя от охотника Егорки, избушка которого якобы стояла тогда на месте будущей Игарки.

Быстро рос город, но еще быстрее разлеталась о нем слава по всему свету. Отто Юльевич Шмидт, именем которого названа центральная улица города, сказал однажды: «Игарка видна всему миру, как маяк». Сюда писали письма со всех концов Советского Союза, из многих стран: Максим Горький, Ромен Роллан, Мартин Андерсен-Нексе, ученые, школьники, путешественники, артисты. Все они дивились мужеству заполярников, гордились ими, желали успехов и старались помочь словом и делом. Цинга, морозы, нехватка жилья и многое, многое другое, с чем встретились первые строители в Заполярье, не сломили их воли и упорства. За несколько лет город и порт были построены, лесопильные заводы начали выпускать экспортный пиломатериал. Английские, немецкие, польские, норвежские корабли повезли из Игарки грузы, а вместе с ними и добрые вести об этом городе.

Мне как-то довелось слышать, что Игарка была «баловнем тридцатых годов». Говорилось это в том смысле, что, мол, страна и советские люди давали Игарке все, чем были богаты: и продовольствие, и лучших людей, и, главное, свое душевное тепло, в котором так нуждались игарчане.

Да, советские люди тогда были щедры, они никогда и ничего не жалели для тех, кому трудно, кто находится на так называемом «переднем крае». Не было в первое лето овощей и фруктов в Игарке, и цинга свалила не одного строителя. В следующие сезоны овощей было завезено в изобилии. Не было доброй одежды – она появилась; не хватало школ, библиотек, клубов – они были построены; нуждался молодой город в специалистах, врачах, учителях, артистах – они приехали.

До сих пор помнят игарчане народную артистку СССР Веру Николаевну Пашенную. Она вместе с группой московских артистов приплыла в Игарку, обосновала здесь драмтеатр, который впоследствии был назван ее именем.

А на острове Полярном, что против порта, кудесничала и творила свой негромкий подвиг ленинградский агроном Мария Митрофановна Хренникова. Долгие-долгие годы выводила она сорта, которые могли бы произрастать и суровых условиях Заполярья. Теперь в Игарке повсюду огороды: и на задворках, и под окнами растет картошка, крупная, урожайная. Этот сорт картофеля называется «Енисей», и вывела его та самая скромная «агрономша» с острова Полярного – Мария Хренникова. К слову

Астафьев Виктор Петрович Родной голос astafevvictor.ru
сказать, сейчас в совхозе снимаются обильные урожаи капусты, лука, редиса, огурцов. Перед тружениками-энтузиастами этого совхоза стоит задача полностью обеспечить игарчан своими овощами.

А разве забудут игарчане, как по всем деревням и городам Советского Союза школьники собирали книги для ребят-заполярников. Из этих книг была составлена одна из первых и богатейших библиотек города. А доброго дедушку Максимыча, прекрасного друга – Горького, принявшего активнейшее участие в работе над книгой «Мы из Игарки», разве забудут? Нет, конечно, нет, никогда не забудут наших прекрасных друзей из всех краев страны. Они, эти друзья, искренне удивлялись тому, что вот живут ребята в Заполярье, учатся, помогают взрослым, они даже восхищались нами...

Я говорю «нами» потому, что и я жил и учился в те годы в Игарке. И сейчас, когда оглядываешься назад, многое кажется действительно достойным удивления.

Но я буду говорить о другом. Об Игарке знали в нашей стране все. А вот о том, что была в Игарке школа № 12, мало кто знает. Ее помним мы, воспитанники этой школы, как, впрочем, помнит всякий свою родную школу. Но о том, что в этой школе был отчаянный класс 5-й «Б», помнят уже совсем немногие.

Двенадцатая школа стояла тогда на окраине города, над Медвежьим логом, за которым располагалась лесобиржа. 5-й «Б» был крайним по коридору. Из него на перемену не выходили, а вылетали с шумом, гамом, рыком и воплями ребятишки. Многие учителя на этот класс, что называется, рукой махнули и считали несчастьем великим вести в нем работу. Анна Матвеевна Фишер, добрейшая и терпеливейшая учительница немецкого языка, так прямо и заявила однажды: «Класс никс гут, я отказуюсь в нем трудица». Но «трудица» Анне Матвеевне все-таки пришлось, ибо, если мне не изменяет память, в ту пору на всю Игарку было два или три преподавателя немецкого языка.

Вот в этом-то классе появился однажды высокий черноволосый человек, еще довольно молодой, порывистый, в очках с выпуклыми стеклами. Он кинул на стол журнал, потер очки, близоруко сощурился, оглядел нас и представился:

– Рождественский моя фамилия, Рождественский Игнатий Дмитриевич, буду учить вас русскому и литературе.

Я сидел на последней парте возле печки-«голландки» с закадычным другом Мишкой Шломовым. Сидели мы за этой партой уже второй год и развлекались как умели. Мишка шепнул мне:

– Смотри-ка, Витька, учитель-то ни шиша не видит, будем курить за печкой и вопшэ веселиться.

Для начала Мишка дал щелчок впереди сидящему большеголовому мальчишке, которого мы прозвали Глобусом. Потом Мишка спустил тому же Глобусу льдинку за воротник, и тот тоненько заскулил.

Учитель посмотрел на нас как-то до обидного снисходительно и тихо сказал:

– Эй вы, там, на Камчатке, уймитесь, а то из класса выгоню.

Мы встретили это сообщение с удовольствием. Выгоняли нас из класса много раз, и мы всегда весело проводили время в коридоре, мешая работать другим учителям. Однако на этот раз все обошлось, мы благополучно досидели до конца урока и, мало того, «пересидели» звонок, чего у нас раньше почти не случалось.

Уж очень увлекательно говорил новый учитель о русском языке, на котором мы говорим, много в нем замечательных слов, которых мы вовсе не знали.

На перемене Мишка сказал, шмыгнув носом:

– Учитель-то ничего, занятно балакает.

А потом был урок литературы. Вместо того чтобы в десятый раз спрашивать нас об образе деспотичной барыни, немого мужика Герасима и его любимой собачки, Игнатий Дмитриевич заставил нас читать вслух и смотрел на часы.

– Мало читаете, – заключил он, – вслух, должно быть, совсем не читаете. А без этого ни русский, ни литература у вас не пойдут. Для русского языка одних вызубренных правил недостаточно..

Помню, в тот день я получил от учителя первую похвалу. Я прочитал отрывок из «Дубровского» быстрее и внятней других. Последние года четыре меня только ругали в школе, а тут на вот, похвалили.

В следующий урок мы писали сочинение, и опять не так, как раньше, не на заданную тему. Нет. Учитель разрешил нам писать о том, что мы узнали и увидели летом. Некоторые наши сочинения были напечатаны затем в школьном рукописном журнале, организованном Игнатием Дмитриевичем.

Так вот с этих уроков и началась наша дружба с Игнатием Дмитриевичем Рождественским. Он успевал пройти с нами и программный материал, и выгадывал десяток минут для того, чтобы почитать что-нибудь из новинок, путешествий и приключений, интересовался, что мы читаем дома, и всегда, рассказывая о том или ином писателе, сопровождая свой рассказ множеством стихов, отрывков, вовсе не означенных в хрестоматии, приносил фотографии, открытки, хорошо иллюстрированные книги.

Исчезли из классного журнала эти «пл.» и «очень пл.». Может быть, и «снямали стружку» с молодого преподавателя, может, и внушения ему делали за то, что он не всегда по методике и по соответствующему параграфу ведет урок. Мы этого не знали. Мы были ребята, всего лишь ребята, и, как всякие ребята, не терпели скуки, сухости. Игнатий Дмитриевич учил интересно, и это для нас было главное.

Помню, однажды в конце урока Игнатий Дмитриевич сказал:

– Ну а сейчас, ребята, я вам прочту новые стихи... свои.

Он закрыл глаза и голосом, в котором едва заметно было волнение, начал:

На вездеходах и на самолетах
Вернулись дети в школу-интернат,
Минуло лето в играх и заботах,
Был каждый день событиями богат.

Раскрыты аккуратные тетрадки,
И пишут, пишут в них ученики,
Как первый раз копали в тундре грядки,
Палатки разбивали у реки.

Пасли на взгорьях молодых оленей,
Ходили за белухой в океан.
И не для классных только сочинений
Для книги хватит летних впечатлений

У маленьких саха и нганасан.
И за окном – шеренги елок важных.
И словно приподняли небосклон
Копры, ряды домов многоэтажных,

И вклинился в болото стадион.
А дальше там.. И школьники немножко
Волнуются – мы чувства их пойдем,
Там созревает сочная морoshка,
Облив траву оранжевым огнем.

Пока сидят ребята на уроке
И пишут от звонка и до звонка,
Для них суда закладывают в доке,
Для них в турбины ринулась река.

Чтоб больше счастья дети повстречали,
Для них, пытливых, братья и отцы
Ведут в тайгу стальные магистрали,

Я цитирую и привожу уже отделанные, а может быть, и много раз переписанные стихи Игнатия Дмитриевича. Вполне вероятно, что в ту пору, как и у всякого молодого поэта, они были еще сыроваты и кое-где неуклюжи, но стихи-то были про нас! Мы читали и слушали стихи Пушкина, Некрасова, Лермонтова. Мы любили творения этих великих поэтов, но они писали и про дворян, и про «немытую» Россию, а вот про нас, про Заполярье, про Игарку написал Игнатий Дмитриевич, и нам, конечно же, стихи его казались самыми прекрасными и близкими. Нам даже чуть страшно стало. Как это так, вот учит нас, сопляков, человек, расстраивается иной раз от проделок наших. И на тебе, стихи сочиняет. Здорово сочиняет!

И надоели же, наверное, мы ему потом! Ведь не проходило урока, чтобы кто-нибудь робко не попросил:

– Прочитайте еще свои стихи, Игнатий Дмитриевич, почитайте, а?

И он никогда не отказывал нам. Он дарил нам радость просто, от души. Он читал о строителях, о рабочих, о речниках и, конечно же, о Заполярье, о его цветах:

Они мохнаты, как зверьки,
Цветы высокой параллели,
Их сроки жизни коротки,
Их солнце греет еле-еле.

Они растут у снежных груд,
Их вьюги сотни раз отпели,
И все-таки они цветут
И дальше к полюсу бредут,
Цветы высокой параллели.

Или о том, что «под Красноярском косят травы, за Минусинском жнут ячмень...», а здесь у нас, в тундре, «на яр взобравшись тяжело, не может отдышаться лето, оно в пути изнемогло». Мы узнавали свое житье, свои радости и заботы в них, в этих простых стихах учителя.

В 1941 году Игнатий Дмитриевич выехал из Игарки в Красноярск. Уехал и навсегда оставил в наших сердцах любовь к литературе, к великому русскому языку. Мы тоже подросли и стали рабочими, моряками, строителями, а затем и воинами, сражавшимися на многих фронтах Отечественной войны.

Кончилось детство, беспокойное, бурное детство. Осталось оно в далеком замечательном городе Игарке, где мы неводили рыбу, добывали куропаток, «копали грядки в тундре», трудились над книгой «Мы из Игарки», переписывались с Горьким и Роменом Ролланом, помогали взрослым на лесобирже и в порту, порой огорчали тех, кто давал нам все: и знания, и силу, и любовь к Родине своей, к своему народу.

Наши добрые, дорогие старшие друзья! Пусть эти строчки будут маленьким свидетельством того, что мы никогда не забываем наших добрых и хороших учителей!

Война. фронт. Громадные расстояния, великие и тяжелые дни разделяли нас с нашим учителем и поэтом. Из-за близорукости он не попал на фронт, но тем не менее всегда оставался в строю. И родной его голос из далекой Сибири доносился до нас, фронтовиков.

Помню, на днепровском плацдарме сидели мы, голодные, отрезанные от наших рек, и вовсе нам не до стихов было. Ночью на плацдарм переправились свежие части. Мы подались к «новичкам» «подстрелить» на завертку табачку. В норке, по-стрижиному вырытой в яру, мелькнул огонек. Я туда. Подхожу и слышу из-за плащ-палатки, загораживающей вход:

Всю ночь в тайге буянили метели,
К востоку тяжко пробивая путь,
В снегу завязли стрельчатые ели,
До сорока к утру упала ртуть.

Надели кедры пышные кухлянки,

Астафьев Виктор Петрович Родной голос astafevvictor.ru
Сугробами тайга заметена...
Старик рыбак проснулся спозаранку:
«Какой тут сон... Тут, парень, не до сна».

Старик рыбак идет проверить сети.
На Енисее гулко рвется лед:
Тайга оцепенела на рассвете,
Лиловый пар от проруби плывет.

Могучи осетры на Енисее,
И с ними трудно сладить старику,
Но знает он: чем сети тяжелее,
Тем легче земляку-фронтовику.

Туман окутал каменные гряды,
Заря зажгла багряные костры,
Лежат на льду, как грозные снаряды,
Пудовые литые осетры.

Родной, нераскатистый, не цветистый, а простой, чуть суровый голос долетел до далекого Днепра. Долетел – и тепло от него стало. Еще больше захотелось драться с этой непрошеной фашистской ордой, которая на погибель себе явилась на нашу землю. От мала до велика поднялись на нее российские люди. И тот старик, что поднял из-под льда «пудовых литых осетров», тоже участвовал в этой битве, участвовал и поэт, учитель наш. Он тоже боролся в меру своих сил и своего таланта.

Я выпросил тогда у пехотинца газетную вырезку с этим стихотворением и долго таскал ее в нагрудном кармане и читал своим друзьям.

Они часто говорили мне:

– Повезло тебе. Вишь, у какого человека учился!

Я и сам так думаю: повезло. Не всякому дано учиться у такого преподавателя, не всякому дано иметь такого старшего друга. Однако это совсем не значит, что преподаватель истории, географии, русского языка и особенно литературы, не пишущий стихов и рассказов и не собирающийся стать поэтом, не может сделать так, чтобы каждый его ученик говорил потом: мне повезло. Ведь очень легко и просто сказать детям, будто Буревестник Горького – это революционер, а Пингвин – буржуй. Гораздо труднее разбудить в сердцах ребятешек любовь к этому Буревестнику, дать крылья и мечту к полету, бесстрашие к бурям.

И где-то здесь, совсем близко, та тропа, по которой рядом идут обыкновенный школьный учитель и писатель. У них почти одна и та же задача: звать людей вперед. Вот почему для меня лично поэт Рождественский неотделим от учителя Игнатия Дмитриевича Рождественского, оба они в полете, оба зовут с собой в заманчивые, порой неизведанные дали.

В одном из стихотворений Игнатий Дмитриевич Рождественский сказал:

я себя не мыслю без Сибири
и без дорогих сибиряков!

И действительно, Рождественского можно смело назвать певцом Сибири и, если хотите, сибирским рудознатцем. Давно и прочно он прирос сердцем к своему огромному, необычайно богатому Красноярскому краю.

Это сейчас стало модно и не зазорно даже для столичных писателей и поэтов обращать «свой взор» на Сибирь. В летнее время (зимой в Сибири студено и трудно проехать по ней с комфортом, особенно на север) на самолетах и красавцах теплоходах, преимущественно в каютах первого класса, по Енисею катаются столичные писатели с командировками Литфонда, и частенько открывают давно открытое, и восхищаются тем, что для людей, работающих и живущих здесь, является само собой разумеющимся: «Ах, Заполярье! Ах, мерзлота! И скажите, живут люди, и, знаете, ничего живут, не плачут, и дома строят, и не в медвежьих шубах, а в шелковых платьях ходят, и, понимаете, поют, „Подмосковные вечера“ поют! Ах, герои! Ах, покорители суровой Сибири!»

Может показаться, что несколько преувеличиваю эти «ахи», но стоит только поглядеть на путевые заметки писателей, появляющиеся в центральных газетах каждое лето (я еще раз подчеркиваю – лето, ибо зимой в Сибирь писатели не ездят). Так вот, все эти путевые заметки пестрят этими «ахами», этим праздным наивным удивлением заезжих гастролеров.

Но живут в Сибири писатели и поэты, для которых родной край никогда не был отхожим промыслом. К сожалению, до последнего времени их творчеству уделялось, да и сейчас еще уделяется, очень мало внимания. Некоторым из них за признанием нужно было уехать в столицу. Только за последние годы в Москву переехали писатель Г. Марков, С. Сартаков, поэты В. Федоров, Ю. Левитанский и другие.

А сколько поэтов и писателей переехало за это время из столицы в Сибирь? Да и те, что переехали, по справедливому замечанию Казимира Лисовского, считают сей шаг чуть ли не подвигом. Как только сейчас не именуют Сибирь в стихах, поэмах и прозаических произведениях: «Это земля будущего», «Это край завтрашнего дня», «Это передний край»! И слова-то, в общем, верные, но уж больно много в них барабанного треска. Много звона бубенчиков под дугой. А уж чего-чего, но пустозвонства, словолейства, самолюбования сибиряки терпеть не могут, в этом я могу ручаться. Вот потому-то, наверное, и любят в Сибири сдержанные, без броской красоты (именно красоты, настоящую красоту сибиряки всегда умели ценить и понимать, потому что живут они в удивительно красивом краю) стихи Игнатия Рождественского. И потому-то особенно обидно становится, когда мимоходные произведения, заглянцованные, похожие друг на друга, как родные братья, заполняют газеты и журналы и авторы их возводятся чуть ли не в землепроходцев, чуть ли не в героев: шутка ли – в Сибирь съездили!

У поэта Игнатия Рождественского никогда не возникало потребности ездить за жизнью, потому что он сам активный участник той жизни, которую творит советский народ. Несмотря на то, что и зрение у поэта очень слабое, и семья была немалая, и, как в одной из статей газеты «Литература и жизнь» было сказано, «двадцать с лишним книжек у него за плечами», – он неутомим, как в молодости. Ему хочется всюду побывать, все увидеть своими глазами, все пощупать и понюхать. Его все время тянет

...там, на далеком перевале,
Костер, как в юности, зажечь.

Нынче летом мы повстречались с Игнатием Дмитриевичем на Волге, а через месяц – в Красноярске. Поэт уезжал на Лену.

– Не бывал еще там. А хочется всюду побывать, года-то уходят.

Да, действительно, годы идут, жизнь идет стремительно, быстротечно. Трудно угнаться за ней, но нужно. Это главная задача литератора, если он не хочет плестись в хвосте и обрастать жиром.

Уже и виски посеребрили годы у моего учителя, у моего доброго друга, уже и ребята его выросли, уже и дедушкой стал Игнатий Дмитриевич, и внук потеснил деда из рабочего кабинета, а он все такой же порывистый, непоседливый. Все так же вместительна и глубока его память, и он может целый день, а то и ночь читать стихи известных и неизвестных поэтов, живших и давно умерших. Очень редко и неохотно он читает свои стихи. Читает, как всегда, с закрытыми глазами, задумчиво и потом так же задумчиво говорит:

– Еще поработать надо, отграничить. Вот поеду – и в пути, в дороге доделаю. В дороге всегда свежее все получается...

И вот в газете «Правда», где Рождественский работает корреспондентом, появляется очерк с Лены, в столе новые стихи, которые поэт никогда не торопится тащить в редакцию, чтобы «протолкнуть» поскорее, покуда они не «состарились». Голос его по-прежнему молод и свеж, и стихи его не стареют, потому что рождены они молодой жизнью и той землей, которая в самом деле вся в будущем, которая в самом деле рождает утро.

Лена, Диксон, дорога Ачинск – Абалаково, Тува, Хакасия, Усинский тракт, Шушенское, Дивногорск – вот далеко не полный перечень тех мест, где только за

Астафьев Виктор Петрович Родной голос astafevvictor.ru
последние годы побывал поэт Игнатий Рождественский. Почти ежемесячно в газете «Правда» печатаются его очерки, а затем выходят отдельными книжечками. В 1958 году Красноярское издательство выпустило книжку его стихов о Ленине «Вечно живое сердце», а в 1959 году поэтический сборник «Енисейская новь».

Поэт верен себе, своей теме. Его последний сборник все о том же – о Сибири, о Енисее, но только еще более широкое, свежее дыхание слышно в нем. Да и как же иначе? Такого строительного размаха, какой развернулся сейчас в родных краях поэта, Сибирь еще не знавала. Если раньше в стихах Рождественского говорилось о том, что «будет море», то сейчас уже речь идет о строителях этого моря:

В хребты, в урочища зимы,
Питомцы незабвенных лет,
Ведем тропу стальную мы
От Абакана на Тайшет.

Как это трудно и как необходимо поэту идти в ногу со временем!

Для Игнатия Рождественского нет иных мук и тревог, постоянно жива в нем страсть:

Край родной окидываю взглядом,
Степи и таежный океан,
И со мной моя Игарка рядом,
И от сердца близко Абакан,

Вижу Бирюсинские утесы,
Горы благодатной Абазы,
Слышу, как гудят многоголосо
Реки, что неистовой грозы.

Да, все вот это видеть, охватить взглядом и сердечно сказать об этом хочется в силу неистощимой внутренней потребности, неискоренимой вовеки привязанности. На его глазах молодеет Сибирь, жизнь исполняет мечты многих поколений тружеников, и мечты эти реализуются нередко в более совершенных формах, чем об этом мечтали! И поэт уверенно говорит:

Корпуса встают могучим строем,
Ни числа, ни счета нынче им.
Все, что мы задумали, построим,
Все, что мы решили, совершим!

Нет, алмазы на дороге не валяются

В детстве я думал, что все алмазы находят случайно, как и монеты на дороге. Идут по горам и долам люди, и вдруг кому-то из них пофартит – он увидит сверкающий среди травы или камней алмаз, цап его – и в сумку.

Много лет спустя был я на драге, которая буквально перегребала дно уральской реки и просеивала через большие и малые решета множество тонн камней, камешков и гальки, прежде чем оставался алмазосодержащий концентрат. Концентрат этот, конечно, не похож ни на гороховый, ни на пшеничный. Он тоже галька, только уже очень мелкая, и где-то в ней есть алмазы. Концентрат упаковывали в ящики, пломбировали и увозили на фабрику, где он, рассыпанный тонким слоем, двигался по ленте через рентгеновский аппарат, и только тут среди миллиардов камешков вдруг загорался алмаз и его наконец-то брали пинцетиком, или, как говорил один лаборант, «принцессой», и доставляли куда надо, и он записывался в план добычи.

Какой огромный труд! Правда, сейчас уже на драгах улавливают алмазы, но все равно, пока дело дойдет до последней операции, надо большую работу проделать.

Когда я вспоминаю, как они добываются, эти алмазы, у меня возникает этакая щемящая мечта: вот если бы и в нашем литературном деле так же?!

Астафьев Виктор Петрович Родной голос astafevvictor.ru

Увы, у нас пока, и нередко, бывает наоборот: просеют сквозь критическое решето «концентрат» с алмазами, а бульжник – пустую породу грохнут на голову автору, и чаще всего молодому, который еще ни в каких литературных чинах не состоит.

Как-то в «Литературной газете» один критик с этакой степенной неторопливостью положил на решето повесть молодой писательницы и просеял. И как просеял! На решете даже камней не осталось – одна пульпа, этакая жиденьякая грязца. Дырявое решето! Алмазники такие решета списывают в брак или ремонтируют.

Ему, этому критику, уже возразили в газете «Литература и жизнь», и потому, что возразили именно в этой газете, я не стану называть имен, дабы не вступать в «междоусобицу», которая так упорно и бесплодно ведется между двумя газетами на протяжении вот уже нескольких лет, и «если одна говорит нет! Да – говорит другая» – так точно сказано в одной эпиграмме.

Но это к слову. Вернусь к повести. Она мне понравилась как раз тем, чем не понравилась критику из «Литературной газеты». Все его обвинения сводятся к тому, что повесть сентиментальная, что она уж слишком женская и даже имена героев в ней красивые, а в поступках какой-то непорядок: целуются, обнимаются, главная героиня назначает два свидания в вечер! Безнравственность и сентиментальность соседствуют!

Хорошо, что не все от критика зависит и что у повести читателей больше, чем у критической статьи, и читатели, хотя и не все, разберутся, что там к чему. Но вот что грустно. Критик этот, и кабы только он один, совсем не обратил внимания на то, что автором повести является женщина. Ему, как видно, желательно, чтоб она походила на кого-то, не была бы самой собой.

Дело вкуса, конечно. Но мне лично не нравятся женщины, которые рядятся в своих повестях и романах в мужицкую одежду. Больше того, они в жизни-то начинают подражать мужчинам: курят, пьют, говорят басом, надевают на себя шапки и брюки. Встретишь – и не поймешь сразу: женщина это или мужчина. Какое-то двуполое существо!

Небось сам критик в такую не влюбился бы, а вот поди ж ты, надо ему, чтоб со страниц произведений дышала табачищем именно такая «дама».

Может быть, и не стоило бы возражать подобным критикам, если бы корни такой беды не сидели глубоко. Хотел или не хотел того критик, но он навел меня на размышления, обратные тому, что он написал. А может, пробудил подспудно зревшие думы о том, чего нам не хватает! А не хватает многим из нас нежности. Нет, не слащавости, а самой обыкновенной нежности, которая так нужна людям, особенно людям влюбленным, особенно родителям, да и всем, всем. Стыдиться мы ее стали. А отчего?

Пожалуй, в таких случаях уместней всего сослаться на свой пример. Мне очень часто ставят на полях рукописи замечания: «грубо», «натуралистично», «ой-ей-ей», «ах!», «ну и ну!» и т. д. и т. п.

Сначала я недоумевал, потом сердился и стирал эти замечания резинкой, потом «натуралистично» крыл тех, кто ставит замечания. Но вот вышла книжка, другая, третья, редакторы у них были разные, а замечания все те же. Я стал задумываться: в чем дело? Где собака зарыта? И мысленно перекинулся назад, в тридцатые годы.

Заполярный порт, бараки, общежития, очереди у магазинов, шумные толкучки, вербованные, переселенцы, ссыльные и освобожденные. Все в куче, и всем работы по горло, и еще много-много недостает. Недостает тетрадей и карандашей в школах; недостает преподавателей и воспитателей; радиорепродуктор – редкость; кино – раз в неделю, да и то лента рвется на самом интересном месте; на лесобиржах, на морских причалах работа идет вручную; семьи живут кучно: комната на семью – уже комфорт; транспорта для горожан никакого нет, зато снегу зимой, а летом гнуса полно. Но живут люди, работают, веселятся по праздникам, обзаводятся потихоньку, строят школы, больницы, детсады, клубы, появляются машины, овощи – отступает цинга. Все это, разумеется, не в один мах, не по-щучьему веленью, как в иных наших книгах, а в трудностях и лишениях, в тяжелой, порою непосильной работе.

И в результате появляются не только машины и дома, но и люди со своим жизненным

Астафьев Виктор Петрович Родной голос astafevvictor.ru
укладом, со своей моралью, языком и одеждой.

В ту пору танцы, особенно «барские» – балльные или другие, презирались, фискальство, слюняйство, трусость преследовались среди ребятишек смертным боем. Появился и буквально хлынул в народ грубый жаргон и соответствующие ему манеры. Тогда были и «стиляги», но другого сорта. У них все было наоборот: брюки чем шире, тем шикарней, рубахи расстегивались настежь, валенки и сапоги загибались до предела, песни были не «импортные», а свои «Мурка», «Гоп со смыком», «Далеко из Колымского края», «Колокольчикибубенчики» и т. д. И пили тогда не коньяк и коктейли, а водку или брагу.

Но не только внешняя разница есть между прежними и нынешними «стилягами». Как правило, «дурели» тогда ребятишки и фасонили лет до шестнадцати, а потом в работу уходили, на производство, и весь «стиль» с них ссыпался, как штукатурка. Работа – она всегда воспитательно действует на людей, она штучек-дрючек не любит, от нее мозоли бывают, а с мозолями какой уж фасон! Впрочем, сейчас появились люди, что и мозолями научились фасонить, и словом «работяга» спекульнуть при случае умеют. Мы этого не умели. И я это ценю больше всего в моих сверстниках.

Но мы не умели и еще кое-чего, и, может быть, не наша вина была в том. Многие из нас не умели и не умеют танцевать, поздороваться как надо, пользоваться столовыми приборами, держать себя непринужденно в обществе, тонко понимать музыку и живопись, завязывать галстук, носить вечерний костюм. Но все это еще не беда, всему этому, будь время и желание, можно выучиться, но вот не умеем мы быть нежными, и чувства, похоже на нежность, маскируем грубостью, всевозможными вывихами, как словесными, так и телесными. Почему?

Говорят, будто это наша национальная черта. Какая чепуха!

Кто ж тогда написал это?

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

А это?

И для тебя с звезды восточной
Сорву венец я золотой;
Возьму с цветов росы полночной;
Его усыплю той росой;

Лучом румяного заката
Твой стан, как лентой, обовью,
Дыханьем чистым аромата
Окрестный воздух напою;

Всечасно дивною игрою
Твой слух лелеять буду я;
Чертоги пышные построю
Из бирюзы и янтаря;

Я опущусь на дно морское,
Я полечу за облака,
Я дам тебе все, все земное
Люби меня!..

Как это прекрасно! Дух захватывает! Слезы к горлу подступают от восторга! И это написали ведь русские поэты!

Мне могут возразить, мол, времена-то, дорогой, меняются. Все это я знаю. Но я знаю также, что в основе неизменными остались слова: любовь, жизнь, красота, чувство материнства, сыновние и дочерние чувства. Сколько бы ни пыхтели над этим пасмурные тугодумы, сколько бы ни передергивали демагоги и ни подводили под них свои знаки, стараясь заменить чувства арифметическими формулами или цитатами из нравоучительных плакатов и лозунгов, – им не убить в человеке человеческое!

Да, конечно, выражение чувств – словесное и всякое другое – стало и в жизни и в литературе сдержанней. Но всегда ли в книгах наших за этой сдержанностью скрывается искренность и глубина? Нет, не всегда. Неумение заглянуть вглубь, добраться до истинного содержания души человеческой приводит иных литераторов к иносказательности, многозначительным фразам и жестам, и это возводится кое-кому в заслугу, считается чуть ли не новаторством, и хоть недружно, но поддерживается критикой. Критики, конечно, тоже разные бывают. Есть те, что ждут юбилейных дат, маститых авторов или торжественных событий и выступают с умильненькими статьями, в которых восклицательные знаки заменяют все, начиная от здравого смысла и кончая элементарной скромностью. Есть и такие, что похлопывают по плечу молодых, желают им всех благ, но дома у себя в узком кругу друзей запрещают произносить даже имена их, в душе желая им денно и нощно геенны огненной.

Есть молодые, да ранние, те, что анализ произведения подменяют фельетонной бойкостью и трескучими зазвонистыми фразами, «обрисовывают себя», показывают свою «эрудицию» и «влюбленность» в литературу, вовсе не заботясь о том произведении, коего разбор начали. Но в большинстве своем люди, работающие в области критики, искренне радуются каждому новому хорошему произведению, готовы поддержать любой светлый росток и тоже преодолевают свои преграды и свои трудности, которых, как мне думается, у них не меньше, а, пожалуй, и больше, чем у нас.

Но, к сожалению, есть пункт, на котором «старые» и «молодые» критики сходятся вплотную и, не сговариваясь, выносят единодушный приговор. За натурализм. И что это за такое сакральное слово – натурализм! – с которым так тебя, злосчастного автора, и караулят, так и караулят, и до того докараулили, до того этим словом запутали, что его стали бояться, и герои иных книг перестали не только до ветру ходить, чихать, сморкаться, кашлять, мыться в бане без трусов, но даже есть перестали.

Один писатель в рассказе сделал такую сцену. Дедушка с внуком во время войны дежурили на крыше. Туда упала немецкая «зажигалка». Дедушка и внук закопали ее в песок, и дед, старый солдат, презрительно помочился на бомбу, чем привел в восторг внука и в негодование редактора.

Автора обвинили в натурализме и рассказ сняли. Когда начинаешь защищаться и ссылаться на классиков или чаще всего на Шолохова, поскольку он живой и ближе как-то, тебе с этакой ехидцею делают замечание: «А вы, милый, пока еще не Шолохов и даже не Лев Толстой».

И деваться некуда. И в самом деле не Шолохов и «даже не Лев Толстой», и посему что позволено им, ни в коем разе не позволено нам. Скажете загнул? Скажете: начал с нежности, а кончил натурализмом? Но это лишнее доказательство тому, как чувства, подобные нежности, не даются мне, и сие меня не утешает, а огорчает и вызывает добрую зависть к тем, кому такие чувства сродни.

Я знаю теперь, может быть, и не до конца, но твердо знаю, какое это сложное и трудное дело литература. В этой трудности и радости и горести наши. Не было бы их, не было бы многих и многих писателей. Литератор, как альпинист, делает одно восхождение за другим, с той только разницей, что альпинисты покорили почти все вершины на земном шаре, а перед нами несть им числа. И нам предстоит долгий и трудный путь, и все в гору, в гору, в гору. А чтобы идти все время в гору, нужно иметь крепкое сердце и здоровые мускулы, да и «запас» в рюкзаке немалый. Если рюкзак этот пуст – далеко не уйдешь, «оголодаешь», как говорят на Урале, и кинешься на подножный корм пощипывать травку.

И как часто в наших произведениях, как в тощем рюкзаке, одна лишь только мелкая травка, да и мускулы у автора дряблые чувствуются, в сердце одышка. Это у молодых-то!

Тех, кто прошел войну и кому уже под сорок, как-то неловко называть молодыми, тем паче что и в литературе они работают по десятку, а то и более лет. Просто в силу бывшего, да и поныне кое в чем бытующего деления на «столичных» и «периферийных» писателей этих так называемых молодых «открыли» лишь недавно, либо они сами «открылись» ввиду созданной более благоприятной обстановки в нашей литературе. И я думаю, что наибольшие трудности переживаем мы, те, кому за тридцать. Как-никак все мы помним, что Пушкин погиб в тридцать восемь, Лермонтов

Астафьев Виктор Петрович Родной голос astafevvictor.ru
в двадцать семь, Писарев лишь на год позже, – и они успели столько сделать!

А мы что?

Этот вопрос, наверное, мучает не одного меня. И я не знаю, завидовать или нет тому, кого он не мучает? А есть такие, есть, нечего греха таить. Сделал одну-две книжки «на уровне», да так на этом уровне, как на старинном безмене, и покачивается. Наверное, таким легко! И пусть не обижаются на меня те, кому не под сорок, а еще только под тридцать, им тоже легче. Они перед миром – как перед распахнутыми дверьми: иди, удивляйся, дыши, впитывай! Мир широк, и перед тобой будущее, за спиной память о военном детстве и о потерянных отцах. Верный компас эта память!

Что у нас за спиной? Много груза, нелегкого и громоздкого: первые пятилетки, первые стройки, тридцатые годы. А там война, а там послевоенные годы, не менее трудные и не менее сложные. Как оглянешься назад, дух захватывает от обилия материала, событий, испытаний и жизненных впечатлений. Но отчего это бывшие фронтовики-писатели могут целыми ночами потрясаяще рассказывать о войне в кругу друзей и бледнеет, стандартизируется их рассказ, как только дело доходит до бумаги? Да, есть у нас «Звезда», «Пядь земли», «Последние залпы», «Живые и мертвые», и, по моему мнению, несправедливо руганный рассказ Ю. Нагибина «Деляги», и другие хорошие произведения.

Но попробуйте мысленно вынуть даже из лучших книг о войне батальные сцены, и что от них останется? Как будто война – это только бои, бои, бои и ничего больше. Но в таком случае после последнего выстрела все встало бы на свои привычные места и след войны не был бы тем неизгладимым следом, который остался в нашей душе и как-то, да это и неизбежно, не отражался на психике и жизни наших детей и всего нашего общества. А работа? Ведь вся война состоит из непостижимо тяжелой работы, порой непосильной, такой непосильной, что в другое время ее и не одолеть бы. Под выстрелами же и разрывами поднимаешь и непосильный груз.

И солдат был в этой работе всечасно.

Мне кажется, что мы еще только подходим к настоящему и глубокому осмыслению такого грандиозного события, потрясшего мир, каким была Великая Отечественная война, и для многих из нас тема ее была и останется навсегда современной. И очень радуют такие великолепные произведения, как поэма Егора Исаева «Суд памяти», как блестящий фильм «Баллада о солдате». Кстати, в той и в другой вещи почти нет батальных сцен, и тем не менее они потрясают больше, чем иные пропахшие порохом и кровью произведения литературы и кино. Крепки они прежде всего мыслями и чувствами, заложенными в них, а вовсе не грохотом боев и количеством подожженных танков.

Вернусь, однако, к началу разговора. Трудно и долго искало путь даже не нежное, а простое гражданское чувство в наши сердца, огрубевшие на войне. Лично я никогда всерьез не принимал поэтические возгласы о том, что в битве мы стали нежнее. Это, видимо, пишется о тех, кто был во втором или третьем эшелонах. А на передовой не было никакой базы для такого чувства и полный простор для противоположных ему. И то добро, что не опустили, не озверели. Крепка, видно, закваска была!

Но дурно представлять нас, фронтовиков, чуть ли не святыми. Мы ж были людьми прежде всего. А человек уж так устроен, что ему сначала спать хочется, потом есть, потом выпить, а потом еще кое-чего. И отсюда множество всяких отклонений от того стереотипного «героя», который много лет бродил, да еще и сейчас порою бродит, в книгах о войне.

Если бы все обстояло так, как изображается в литературе, то надо предположить, что военные трибуналы существовали зря, а штрафные роты образовывались по какому-то существу недоразумению, и в них «искупали вину кровью» сплошь невинные люди.

Мы увезли с фронта не только груз потерь и утрат, тяжесть гнетущих окопных воспоминаний, а также и память о тех несправедливостях, которые не раз обрушивались прежде всего на солдатские головы.

Но мы умели переносить лишения и научились понимать, что «там в тылу» еще

Астафьев Виктор Петрович Родной голос astafevvictor.ru
труднее, и хоть крыли «боевыми словами» старших себя по чину, но дело свое
делали, как известно, делали его не всегда с блеском, однако выполнили свой долг
до конца.

Я считаю, что самая правдивая книга о войне еще только пишется, и она будет без
дозировки: «сто граммов положительного и пятьдесят отрицательного». Для правды
еще никто гирь не придумал, да и не придумает, полагаю.

Так вот с этим «грузом» и вернулся я с войны. Да и один ли я?!

А тут такая жизнь началась, что и вспоминать о ней не хочется. Право, бывали в
первые послевоенные годы такие дни, когда я жалел о том, что меня не убили на
фронте.

В сорок седьмом году мы с женой, тоже недавно демобилизовавшейся, жили в старом,
полуразвалившемся флигеле. Как-то я прибежал на обед раньше ее, быстро нарубил
дров – и во флигель, варить картошку. Распахнул двери, да так и застыл с охапкой
дров на пороге.

По флигелю разносился голос певца, и такой раздольный, и так он здорово
заливался, что мне казалось: сейчас наш старый клееный репродукторишко
рассыплется в прах. Но «сооружение» сдюжило, и голос певца сотрясал нашу халупу.

И виделось мне синее-синее море, и он, певец, в лодке среди ослепительных волн,
и где-то на далеком берегу, тоже облитом солнцем, вся пронизанная лучами
девушка, а вокруг такой изумительный, такой светлый мир!

Я сидел и слушал, забыв про картошку и про все на свете. Мне кажется, тогда души
моей коснулась впервые нежность, и война для меня кончилась хотя бы наяву.

Я знаю нескольких бывших фронтовиков, которые так или иначе сократили свою
жизнь. Верю, что, если бы они хоть раз слышали того певца, Джильи, они бы больше
ценили и любили жизнь.

Он бы уберег их от беды, как уберег в свое время меня, наново открывши мне тот
мир, которым я грезил в юности и о котором постепенно забыл на войне.

Прекрасное, оно способно воскресить человека, оно проникает в самое сердце, где
и хранятся настоящие чувства, а сверху ведь только оболочка, самое же ценное
глубоко упрятано, и его мы почему-то стыдимся и выказываем лишь своим детям, да
и то пока они ничего понимать не умеют.

Все остальное: чуткость, доброта, умение быть ласковым – это лишь продукт
затаенной в нас нежности – неоценимого человеческого качества, без которого мы
не имели бы трепетной музыки, прекрасной живописи, книг, стихов, поэм, при
чтении которых закипают в горле слезы. Мы довольствовались бы маршами да схемами
военных уставов.

Но память о войне не умерла в нас, и о войне многие из нас начали писать. На
первых порах было как-то проще; выхватил боевой эпизод или кусочек биографии –
написал. И читателю приятно, и тебе любо. Все есть: и бой, и подвиг, и любовь, и
ненависть. Но эпизод так и остался эпизодом или кусочком биографии.

Однако проходят годы, и возникает внутренняя потребность не просто рассказать о
виденном и пережитом, но и осмыслить его. Осмыслить глубоко, масштабно, не с
узкой собственной точки, а с общечеловеческих позиций – и тут-то начинается
буксовка.

Да, за последние годы в нашей прозе и поэзии немало достижений, и особенно в
области короткой повести. Отличные есть повести, им воздано должное, и нет
надобности их перечислять – перечислениями у нас и так пестрят газеты, и
особенно передовые статьи в них.

А где же наши широкие полотна? Они есть. Но широки они чаще всего по листажу.
Почему же происходит такое?

Запас жизненных наблюдений, материал, наконец, степень какого-то писательского
мастерства накоплены, а не получается вот так, как в голове иной раз получается

Астафьев Виктор Петрович Родной голос astafevvictor.ru
– и глубоко, и здорово, и смело, и масштабно. Какие-то тормоза стоят внутри и со скрипом, со скрипом отодвигаются.

Может быть, мы сейчас лишь подходим к этому самому мастерству и начинаем по-настоящему мучиться? Ведь преодоление себя, воспитание писательского характера, умение видеть мир собственным взглядом и осмыслить его собственной головой – это тоже мастерство, а не только выбор языковых и изобразительных средств, кои дают порою основание называть иных литераторов мастерами. Но это далеко не все, это, если на то пошло, лишь подход к мастерству, первые буквы в алфавите, первые азы.

Как часто в наших книгах человек изображается в одной-двух плоскостях. Найдем какую-нибудь характерную черту в облике героя, в его характере – и до конца повести, чаще рассказа, эксплуатируем эти две-три черты, а то и всего лишь штриха. И говорят герои «похоже» друг на друга, разве что словечками какими-нибудь отличаются.

Но ведь мы тоже числимся в «инженерах человеческих душ»! Скромничать нечего, назвался груздем! И нашей задачей является изображение человека всесторонне: с птичьего полета, и с земли, и изнутри, и снаружи. Никто нас от этого не освобождал, мы сами дали себе такую поблажку, и вот получаются книги по пословице: «Сбил, сколотил – есть колесо! Сел да поехал – ах хорошо! Оглянулся назад – одни спицы лежат!»

Спиц сзади нас много, да колеса-то можно по пальцам пересчитать.

Нам надо «расковаться», нам нужно обретать крылья для высокого полета, нам пора говорить в полный голос обо всем, что мы знали и видели, видим и знаем. Пора, давно пора поговорить о том, что у нас «наболело», о том, что мы пишем и чем мы дышим.

Дышать в литературе стало легче, но это не значит, что все уже сделано и все препоны на пути к созданию высокохудожественных произведений сняты. Перестраховка, оглядка назад, желание «приставить» к кому-то, сделать на кого-то похожим еще живы в некоторых наших издательствах и редакциях журналов. Они сбивают с панталыку, задерживают рост писателя, не дают ему возможности расправить крылья в полный размах.

А бескрылость, похожесть – особенно противопоказаны молодым. На то они и молодые, чтобы нести молодое, свежее, пусть спорное, но свое. А у нас еще очень и очень любят баюкать пусть слабое, но бесспорное, приемлемо благополучное «творение» и часто косятся на того писателя, который ищет, мучается и в поисках делает ошибки.

Создается впечатление, что слова: «На ошибках учимся» – считаются устаревшими и неприемлемыми. Но не ошибается, как известно, тот, кто ничего не делает. И еще вот что. Мне думается, постоянный, почти набатный призыв писать о современности и только о современности не всем оказал добрую услугу.

Наша критика единодушно закрывает глаза на то, что не всякий художник может быть современным, а точнее, ультрасовременным, ибо под критерием современности у нас нередко подводятся лишь те произведения, которые пишутся по горячим следам событий. Есть немало случаев, когда в погоне за мнимой современностью автор отпихивает от себя тему и материал, который ближе ему, дороже, и вместо высокохудожественного произведения, которое он мог бы сделать, выдает скороделку.

Забывать о том, что наряду с остросовременным Тургеневым работало и немало других художников, и работали они над тем, что выстрадала их душа, не следует. Эта забывчивость приводит к спринтерству, уместному в спорте, но не в литературе, к узкотемью и скудомыслию. Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что за последние десять лет каждая пятая или шестая книга наших писателей имеет прямое отношение к геологам. Любители терминов наряду с терминами «сельскохозяйственная» и «рабочая» литература могут смело включать еще один – «геологическая».

И не надо хмурить лбы и искать глубокомысленные причины и обтекаемые объяснения тому. У геологов работа эффективная. У геологов опасности и романтика, правда,

Астафьев Виктор Петрович Родной голос astafevvictor.ru
зачастую придумываемые авторами, и, кроме того, путь к геологам в литературе проторен. Геологи, как по команде, опрокидываются из лодки на бурной реке либо попадают в лесной пожар, даже поздней осенью, когда таковых в тайге не бывает, и утрачивают, простофили, всё: ружья, спички, продукты, правда, иногда им оставляют один патрон и одну или семь спичек, и геологи начинают «героически» погибать. Погибают медленно, как в опере, с красивыми словами.

Какая это неправда и фальшь! Ведь плюются геологи, читая «про себя» такие боевички. И это современность? Да это не что иное, как уход от современности, подделка под нее, стремление упрятаться на узких геологических тропках и в глухой тайге от жгучих вопросов повседневной жизни.

Верхоглядство при спешке неизбежно. А спешка – основная беда большинства наших нынешних книг. Некогда подумать, некогда всмотреться, взвесить. И вот результат: почти половина героев в книгах последних лет живет и работает на Братской ГЭС. Сколько же народу живет и работает на Братской ГЭС? Миллион, два, двадцать миллионов? Ну а как быть с остальными двумястами миллионами?

У них что, пустая, неинтересная жизнь? Они ничего не делают, что ли? Не влюбляются, не умирают, не переживают трудностей, не творят? Возгласы о том, что только лишь там, на Братской ГЭС, и есть передний край, звучат неубедительно, ибо для истинного художника, как известно, передовым краем могла быть и Полтавская битва, и частная убогая мастерская, где сделали редкостную шинель.

А вот у нас навалились дружно на ГЭС и пошли штурмовать «остросовременную» тему о том, как один парень или одна девица заработали там свой хлеб и как, оказывается, трудно его зарабатывать.

Но этот хлеб уже тыщи лет добывается потом и трудом, и нам ли, нашему ли обществу, созданному прежде всего для созидательного труда, умиляться теми «героями», кои вдруг на двадцатом или на двадцать пятом году жизни сделали открытие, что без труда не вытащишь и рыбку из пруда?!

Иной художник в книгах о гражданской войне либо о первой пятилетке выглядит куда современнее, чем тот, который сверяет свое творчество по календарю, а со страниц его произведений сыплются пудра и нафталин прошлого века.

Надо наконец со всей серьезностью сказать, что понимание современности у нас сузилось до календарных рамок. Наиболее современными стали те книги, которые выходят в третьем квартале года, а действие их развертывается в первом.

Увы, были такие. Еще не успели газеты раскритиковать травопольщиков, как уже появилась о них повесть, а затем, кажется, и роман, не говоря о рассказах и стихах.

Не могу удержаться, чтобы не привести хоть и длинную, но очень, как мне кажется, полезную цитату по этому поводу из Писарева, хотя цитат и не люблю: «В каждой литературе, достигшей известной степени зрелости, появляются такие произведения, которые соглашают общечеловеческий интерес с народным и современным и возводят на степень художественных созданий типы, взятые из среды того общества, к которому принадлежит писатель. Автор такого произведения не увлекается современными ему, часто мелкими, вопросами жизни, не имеющими ничего общего с искусством; он не задает себе задачи составить поучительную книгу и осмеять тот или другой недостаток общества или превознести ту или другую добродетель, в которой нуждается это общество. Нет! Творчество с заранее задуманною практической целью составляет явление незаконное: оно должно быть предоставлено на долю тех писателей, которым отказано в могучем таланте, которым дано взамен нравственное чувство, способное сделать их хорошими гражданами, но не художниками. Истинный поэт стоит выше житейских вопросов, но не уклоняется от их разрешения, встречаясь с ними на пути своего творчества. Такой поэт смотрит глубоко на жизнь и в каждом ее явлении видит общечеловеческую сторону, которая затронет за живое всякое сердце и будет понятна всякому времени».

И далее: «Так смотрит поэт на явления своей современности, так относится он к различным сторонам своей национальности, на все смотрит он с общечеловеческой точки зрения; не тратя сил на воспроизведение мелких внешних особенностей народного характера, не дробя свои мысли на мелочные явления повседневной жизни, поэт разом постигает дух, смысл этих явлений, устраивает себе полное понимание

Астафьев Виктор Петрович Родной голос astafevvictor.ru
народного характера и потом, вполне располагая своим материалом, творит, не списывая с окружающей его действительности, а выводя эту действительность из глубины собственного духа и влага в живые, созданные им образы одушевляющую его мысль» (выделено мною. – В. А.).

Я знаю, что есть более памятливые цитатчики, чем я, и они способны покрыть Писарева «kozyрями». Но, право, это очень умные и очень современные слова, а мудрое глупо оспаривать, его лучше осмыслить – от этого будет больше проку.

В конце статьи мне снова хочется вернуться к алмазам. Первый русский алмаз был найден четырнадцатилетним каталом золотого прииска Павлом Поповым в пригороде Чусового Пермской области на Кресто-Воздвиженских промыслах, принадлежавших баронессе Полье-Варваре-Бутэро.

Как-то поехал я в поселок промысла добраться «до корней» этой находки. Каково же было мое изумление, когда ко мне явились восемь древних дедов и каждый из них заявил, что это он нашел первый алмаз, и требовал, чтобы я «составил бумагу» в Москву на предмет получения «особой пензии».

Поскольку дедов было восемь, а алмаз первый всего был один, промеж дедов началась перепалка, которая закончилась совсем неожиданно.

Один из дедов, коренастый такой, зеленобородый, девяносто восьми лет от роду, топнул ногой и сделал «резюме»: если, дескать, на то пошло, он выскажет суть, а суть, мол, такова, что никакой ни Попов, ни я, ни вы, «глухие пенья», а покойница Ермачиха нашла «ентый алмаз в зобе у курицы, когда зарубила ее на похлебку».

Шире – дале, деды пластаются и высказывают каждый свою «суть», и выясняется, что алмазов этих они по дурости перевели множество. Не умея отличать алмаз от топаза и прочих «блискучих» камней, они каждый найденный минерал клали на наковальню и лупили по нему кувалдой. Рассыпался – значит, не алмаз, не рассыпался – алмаз.

За подарок царице в день ее именин первого русского алмаза Полье-Варваре-Бутэро был жалован высокий титул графини, а Павел Попов был крепостным до того, как нашел алмаз, крепостным бедолагой и остался, да так и умер в нищете. Но всё же находка его оказалась бесценной и более сотни лет спустя сослужила большую службу нашему народу.

Вот так бы нам всем – литераторам и критикам, живописцам и режиссерам, музыкантам и актерам, – не думая об «особой пензии», научиться отыскивать алмазы в недрах нашей сложной и кипучей жизни, отдавать их в руки труженика-народа.

А для этого надо работать, много работать, копаться в самом главном русле жизни, а не рыскать около берегов. Туда алмазы заносит редко. Они тяжелы. Их несет сильным стержневым потоком, и добраться до них нелегко!

...Вот поставил я точку и задумался: не самонадеянно ли звучит статья? Не перегнул ли я? Не много ли на себя взял? Нет ли в ней неуважительного тона к собратьям по перу, и особенно к старшим? И не мне, наверное, следовало говорить обо всем этом. Есть писатели и старше, и умнее, и опытнее меня, они бы лучше, наверное, сказали.

И вообще, может, положить статью в стол и никаких тебе тревог и волнений.

Но когда-то ж надо одолевать свою внутреннюю робость, которую часто путают со скромностью, и говорить все, что думаешь и хочешь говорить. От этого, возможно, будет польза, и, надеюсь, не мне одному.

Беседы о жизни

Мне было передано для ответов пермской газетой «Молодая гвардия» восемь вопросов.

Часть из них требует обстоятельного разговора, а на некоторые вопросы можно ответить коротко. Поэтому я дам сначала ответы на них, а потом уж примусь за (признаюсь сразу) трудные для меня вопросы.

Но прежде чем взяться за дело, я напому и себе, и читателям слова Горького о том, что нужно человеку много знать, многое изучить, изведать, выстрадать, прежде чем он получит право – не учить, нет, а лишь осторожно подсказывать.

Поэтому, все, что будет здесь сказано, – не поучения, не руководство к действию, а субъективные и потому, быть может, и не всегда правильные советы и раздумья старшего вашего товарища.

Вопрос, заданный библиотекарем Зиной Шипигузовой: «Какое самое любимое Ваше произведение советской литературы?»

Поэма Василия Федорова «Проданная Венера».

Вопрос, подписанный «Заочница»: «Что нужно, чтобы стать хорошим педагогом?»

Любить свое дело больше, чем самое себя. Не подражать ни в чем учителям, которые Вас плохо учили. Уметь думать.

Вопрос учащейся Л. И. Давиденко: «Роль библиотекаря в пропаганде литературы велика. Как Вы относитесь к библиотекарям?»

К хорошим библиотекарям отношусь хорошо, к плохим – плохо. Роль библиотекаря в пропаганде книг, конечно, велика, но уж слишком казенно, по «методикам-сценариям», спущенным сверху, ведется эта пропаганда, поэтому беседы, обсуждения книг, так называемые читательские конференции во многих библиотеках проходят скучно, читатели на них «выступают», а не просто говорят свое мнение. Считаю, что наличие огромного количества книг в библиотеке, пусть и мудрых, не освобождает библиотекаря от самостоятельных мыслей и поступков.

Вопрос библиотекаря Безматерных: «Будете ли Вы что-нибудь писать для детей?»

Для детей я всегда пишу со светлой радостью и постараюсь себя всю жизнь не лишать этой радости.

Вопрос рабочего зоосада В. Красильникова: «Может ли плохой человек быть хорошим писателем?»

Как правило – нет. Однако бывают и исключения из правил. Но доставшееся от природы человеку, низкому, подлому, дарование мельчает, талант поражает какая-то внутренняя ржа. Чаще всего такие писатели дарование свое разменивают на пятаки, а жизнь кончали и кончают мерзко.

Вопрос А. Баяндиной: «Как возникают сюжеты Ваших произведений случайно или Вы их ищете в жизни?»

Вопрос этот часто задают на встречах читатели, и, я полагаю, ответ на него интересует многих людей, поэтому отвечу подробнее.

Единственная моя попытка писать по сюжету литературному, что ли (имеется в виду мой рассказ «Могила ее неизвестна»), по-моему, была неудачей. Но что значит – искать сюжет в жизни? Сюжет не грибы, и искать его, для меня например, дело бесполезное. Чаще всего сюжет, если так можно выразиться, сам меня находит. Каждому сюжету надлежит быть неповторимым, всегда неожиданным, поражающим своей необычностью, новизной. Другое дело, что «новизна» эта иной раз одного писателя только и поражает, ему только новой и кажется. Это лишний раз доказывает, что человек, которому не мнится, что он первый открывает мир и все в этом мире, за перо браться не должен. Всякий писатель обязан открывать «свою Америку», иначе он ремесленник, повторяющий кого-то, ракушка, приставшая к чужому кораблю.

Мои сюжеты чаще всего приходят из воспоминаний, то есть из тех времен, когда я писателем не был и не знал, что им буду, следовательно, и сюжетов искать не мог. Бывает, что сюжет рождается всего лишь из одной «детали» какой-нибудь. Например, рассказ «Ария Каварадосси» возник оттого, что в 1944 году на фронте я слышал,

Астафьев Виктор Петрович Родной голос astafevvictor.ru
как ночью в окопах пел кто-то. Пел не арию, а тянул на всю передовую протяжное что-то, и все вокруг смолкло постепенно. Рассказ «Сашка Лебедев» почти точно воспроизводит одни сутки, проведенные вместе с одним раненым. А Генка Гущин из «Дикого лука» почти весь придуман.

Прошлой весной я встретился на охоте с человеком, который показал мне ружье, купленное у солдатской вдовы. Она двадцать лет хранила это ружье. Я представил себе эту женщину, эти ее двадцать лет надежд и ожиданий и, наконец, продажу ружья – и получился один из самых моих печальных рассказов «Тревожный сон».

Но с сюжетом бывают и неожиданности. Например, я хотел написать небольшой этюд для ребят о деревенской завозне, но этюд этот вдруг начал писаться дальше, все, что было написано о завозне, оказалось ненужным. И я эти исписанные листы выбросил. А дальше пошло-поехало, и получился рассказ о стороже завозни. Рассказ этот называется «Далекая и близкая сказка». О завозне в нем осталось лишь упоминание. Повесть «Стародуб» сначала задумывалась вовсе не повестью и не с этим названием. Это должен был быть рассказ о браконьере. И я было его уже написал. Но потом все написанное также выбросил и стал писать дальше, другое и о другом. Мысли о браконьере оказались той пристанью, от которой я лишь отчалил в повесть. Сюжет же, кроме всего прочего, еще должен быть по душе писателю, соответствовать его характеру, творческому направлению и стилю. И не надо думать, что писатель, берущий сюжеты из самой живой жизни, есть доподлинный писатель, а тот, который выдумывает, – так себе, вроде факира.

Александр Грин прожил тяжелую жизнь, богатую столькими сюжетами, что их хватило бы на целую роту писателей. Но все сюжеты своих произведений он выдумывал, и мы, читатели, благодарны ему за эти чудесные романтические выдумки; и, я уверен – еще не одно поколение людей будет со сладким, волнующим замиранием сердца плыть под его «Алыми парусами».

Остаются два вопроса: «Почему в современной советской литературе нет героев, подобных Павке Корчагину?» – его задал читатель газеты Валерий Чердак. И – «Каким Вы представляете нашего современника?», заданный учащейся культпросветучилища Л. Кисляковой.

Оба вопроса я объединяю, потому что второй вопрос, как мне кажется, логически вытекает из первого.

Сотни раз повторенный читателями нашими и критикой нашей вопрос о Павке Корчагине я считаю несколько устаревшим и демагогичным, ибо предполагаю, что все русские люди знают русскую поговорку: «Каждому овощу свое время». Задается этот вопрос чаще всего как укор нам, писателям, «не сумевшим», «не увидевшим» и т. д. А критиками, преимущественно демагогами, подхватывается для «обострения» дискуссий.

Я веду прямой разговор, иначе не взялся бы за эту статью! Я считаю, что тоже имею право на вопросы, потому и задаю один вопрос Вам, товарищ Чердак, и всем, кто любит спрашивать про Павку Корчагина: «Возможен ли нынче герой, подобный Павке Корчагину?»

На мой взгляд, невозможен и, более того, не нужен.

Героя формируют не писатели, а жизнь, история, и каждый исторический отрезок времени характерен своими героями, то есть, как говорилось выше: «Каждому овощу – свое время». Еще не хватало вопросов о том, почему нет в современной литературе образа, подобного протопопу Аввакуму. Тоже ведь борец, герой, да еще какой герой! Идеальный!

Если бы мне был задан вопрос о том, почему в нашей литературе мало таких героев, как Герман Титов и Алексей Леонов, а в мировой литературе таких, как Сент-Экзюпери и Джим Корбетт, я бы ответил на него без налета раздражения, а с грустным вздохом, сознавая и свою в том виновность, потому как, любя таких героев, считая их той каплей, в которой, как в солнце, отразилось наше сложное и могучее время, я и попытки не делаю подступить к ним. Но это не значит, что я да и все наши писатели не думают о них, не восхищаются ими, не мечтают написать о них.

Однако настоящий, большой герой требует настоящего и большого отображения. Он

Астафьев Виктор Петрович Родной голос astafevvictor.ru
как скала – голыми руками его не возьмешь! Нужны современные «инструменты» – я имею в виду современный уровень мышления, современную художественную форму, короче говоря, современную голову, способную мыслить на уровне, а желательно и выше этих новых героев.

Есть писатели, которые поступают проще, – они не пишут о больших, настоящих людях, а берут себе что попроще и полегче и оттого заселили книжки наших молодых современных писателей вихляющиеся мальчишки, говорящие и действующие по образу героев иностранных фильмов, преимущественно дрянных, потому что и за границей есть масса прогрессивных, настоящих людей и не все так называемые положительные герои живут и работают только у нас. Я уже называл как примеры Сент-Экзюпери, Джима Корбетта.

Налицо как будто одно из противоречий литературы, и не только нашей. Писатель, которому ближе идеальный современник по складу своего мышления, жизни, внутренний мир которого, сформированный одним и тем же временем и событиями, должен быть сродственным ему, уклоняется от его изображения. Иные делают это из боязни оскорбить упрощением любимого героя, а иные отворачиваются от него цинично. При этом я не беру в расчет халтурщиков и людей в литературе случайных, острым всем равно, о чем писать, лишь бы печатали. Нет, очень даровитые, остроумящие молодые литераторы вместе со старшими товарищами по труду смотрят на настоящих героев с открытыми ртами, но пишут о людях маленьких, простых, а зачастую и простеньких. Попытки взять масштабный характер, показать современного человека во весь рост делаются, и порой не без успеха. Я считаю большой удачей нашей литературы образ профессора Вихрова из «Русского леса» Л. Леонова, героев книг Даниила Гранина, нагибинского Егора Трубникова. Но как еще много в них от героев-рубак, скорее характерных для гражданской войны, первых пятилеток, Отечественной войны, но не для сегодняшнего времени.

Наверное, не так все просто, как кажется иным нашим читателям и критикам, – взял, сходил на завод или лучше на ракетодром, увидел там героя, подобного Павке Корчагину, и «изобразил».

Но те способы и художественные средства, та форма, тот образ мыслей и уровень интеллекта, с которым в свое время жил, боролся и побеждал герой, подобный Павке Корчагину, нынче, по-моему, непригодны. Все должно быть сложнее, многообразней и шире. Внутренний мир современного большого героя требует особой «отмычки». Я, например, таковой пока не имею. Писать же, скользя по поверхности, сшибая вершки на ходу, не хочу и не могу – сшибание вершков только оскорбляет наших лучших современников и оставляет искаженную, бедную память о них нашим потомкам.

Чтобы изобразить героя, нужно изобразить его время. А наше время невероятно сложно, противоречиво. Разобраться в нем очень трудно. Сердце художника и изнашивается прежде всего потому, что в него, как в огромную мишень, попадают все беды и радости земные, и неумение «разгадать жизнь», изобразить ее мучает его, как птицу, которая не может подняться с земли. Но муки художника совсем не берутся в расчет.

Писателю отводится роль и характер этакой благополучно перезимовавшей птички – знай чирикай себе, желательно в мажорном тоне. Нет, пока есть мир, есть и художник. А пока есть художник, есть и его муки, и не только творческие. В литературе нашей, да и в мировой, есть художники, жизнь которых являет собой примеры высокого подвига, высокой нравственности и силы. Они делают самоотверженно и честно свою вечную работу, приближая победу добра над злом. При этом сами они страдают во сто крат больше от земного зла, ибо, перефразируя известную поговорку, можно сказать: кому больше дано, тот больше и мучается.

Один восточный мудрец просил в своих молитвах, чтобы аллах не дал ему жить в интересное время! Не знаю, как мудреца, а нас аллах не избавил от этого, он нам «подсунул» время не только интересное, но и трагическое. В мир, а значит, и в любого из нас нацелено самое ужасное смертоносное оружие; рак и другие болезни все еще угрожают человеческой жизни. И в то же время наука делает открытие за открытием, одежда людей, зрелища, способы его труда и передвижения сделались легкодоступными и красивыми. И наконец, произошло самое великое событие тысячелетия – человек вырвался в космос! Дух захватывает, голова кружится от центрируемости нашего времени, калейдоскопичности событий. Соображать нужно быстро, творить на ходу, чтобы угнаться за современностью. Но делать любое дело, особенно писательское, на ходу очень трудно.

Я верю, что рождается и скоро появится художник, который будет так умен и велик, что ему будет по силам творить не только на ходу, но и на лету, и, возможно, гением своим он наконец образумит людей, научит их жить в мире и согласии, поможет излечиться от недугов и недоверия друг к другу. Мы делали и делаем все: раздавили фашизм; преодолеваем недостатки в нашем хозяйстве; ликвидируем бескультурье; боремся за подъем литературы и искусства; открываем новые университеты и прорываемся к новым мирам – все для того, чтобы человек был крылатей, раскованней и свободней в помыслах своих и деяниях.

Помните, что гениальный Пушкин к нам не с неба свалился. Много литераторов, теперь забытых или полузабытых, много культурных людей «предпушкинского» времени рыхлили ту почву, на которой рос и зрел его изумительный талант.

Я еще раз повторяю, верю: придет новый человек – титан, творец, мыслитель и художник – на нашу землю и разберется в том, в чем мы разобраться не сумели, чего понять не смогли. Гением своим он восславит нас за добрые дела, осудит за плохие, в том числе и за то, что мы не родили его раньше. Но, занимаясь черными, повседневными делами – работой, войной, ликвидацией дикости, мы думали о нем, мечтали. И хорошего мы сделали и делаем все-таки больше, чем плохого, и оттого-то глядим в будущее хотя и не без тревоги, но с доброй надеждой. Мы работаем, живем и страдаем во имя этого будущего. Иначе нам и жить, и страдать не стоило бы.

В заключение повторяю молодым читателям еще и еще раз: больше думайте сами, не ждите готовых ответов. Современная жизнь сложна, она каждый день задает человеку новые задачи, и, следовательно, каждый день как мне, так и всем людям приходится и нужно искать на них новые ответы.

Очарованные словом

В тридцатых годах в далекой заполярной игарской школе появился высокий чернявый парень в очках с выпуклыми стеклами и с первых же уроков усмирив буйный класс 5-й «Б», в который и заходить-то некоторые учителя не решались. Это был новый учитель русского языка и литературы Игнатий Дмитриевич Рождественский. Почти слепой, грубовато-прямолинейный, он не занимался нашим перевоспитанием, не говорил, что шуметь на уроках, давать друг другу оплеухи, вертеться, тереться за косы девчонок – нехорошо.

Он начал нам рассказывать о русском языке, о его красоте, богатстве и величии. Нам и прежде рассказывали обо всем этом, но так тягуче и скучно, по методике и по правилам, откуда-то сверху спущенным, что в наши удалые головы ничего не проникало и сердца не трогало.

А этот учитель говорил, все больше распаляясь, читал стихи, приводил пословицы и поговорки, да одну другой складнее, и, дойдя до слова «яр», усидеть на месте не мог, метался по классу, горячо жестикулировал, то совал кулаками, как боксер, то молитвенно прижимал руку к сердцу, усмиряя его и себя, и выходило, что слово «яр» есть самоглавнейшее и красивейшее слово на свете и в русском языке, ведь и название городов – Ярославль, Красноярск не могло обойтись без «яра», и берег обрывистый зовется яр, да и само солнце в древности звалось ярило, яровое поле – ржаное поле, яровица, ярица, которую весной сеют; ярый, яростный человек – вспыльчивый, смелый, несдержанный, а ярка, с которой шерсть стригут?..

Словом, доконал нас учитель, довел до такого сознания, что поняли мы: без слова «яр» не то что ни дыхнуть, ни охнуть, но и вообще дальше жить невозможно...

Не выговорившись, не отбушевав, наш новый учитель не раз потом возвращался к слову ЯР, и думаю я, что в не одну мою вертоголовую башку навечно вошло это слово, но и другие ученики запомнили его навсегда, как и самого учителя, и его уроки, проходившие на вдохновенной, тоже яростной волне.

Учиться нам стало интересно, и вконец разболтавшиеся, кровь из учителей почти до

Астафьев Виктор Петрович Родной голос astafevvictor.ru
капли выпившие второгодники и третьегодники, в число которых входил и автор этих строк, подтянулись и принялись учиться подходяще и по другим предметам.

Я сидел в пятом классе третий год по причине арифметики, поскольку уже год или больше сочинял стишки, четыре строчки из моих творений уже были упомянуты в газетном обзоре творчества школьников, считал, что поэту эта надсадная математика совсем ненадобна, что поэт волен, как птица, и всегда должен быть в полете, а в полете и вовсе скучные науки, как та же математика, химия или физика с геометрией – лишний груз...

Зато уж по русскому и по литературе я из кожи лез, чтобы только быть замеченным, а однажды и отмеченным был нашим любимым учителем, которого мы не без оснований называли малохольным, вкладывая в это слово чувство нежности, на какую-то, оказалось, мы были еще способны.

«Очарование словом» – не сразу, не вдруг определил я чувство, овладевшее нами, учениками школы, где большая часть из нас были из семей ссыльных, привезенных сюда умирать, а не все вымерли, половина из них строила социализм, пилила и за границу отправляла отменную древесину, добывала валюту в разворованную крестьянскую казну, а нарожавшиеся вопреки всем принимавшимся мерам живучие крестьянские дети наперебой учились грамоте и родному языку. Вот даже до слова ЯР добрались. И оно ласкает уставший от бухающих слов «патриот», «вперед», «народ», «даешь», «орешь», «поешь» их отсталый слух.

Мне довелось дожить до тех времен, когда один дотошный пенсионер сосчитал, что газета его родного района использует в неделю восемьсот слов! Это при великом-то, богатом-то, из которого наш великий поэт Пушкин знал и мог объяснить 25 тысяч слов!

Но оказалось, что восемьсот слов на неделю – это не предел. В наших школах и вузах доучили людей до того, что они начали выражать всевозможные, в том числе и нежные чувства, и успехи на производстве, как и чувства насчет еды, езды, учебы, политики и так далее одним словом «нормально», в минуты возбуждения или стресса, как принято нынче говорить, прибавляя к ним «блин». Мы с бабкой как-то спросили у внучки, что это за слово и каково значение его, и третьеклассница толково нам объяснила; «Взрослые говорят „б...“, а нам нельзя, вот мы и говорим „блин“».

И это тоже не предел! Есть и такие молодцы и молодницы, которые и «да» и «нет», и восторг, и ненависть, и любовь, и богатое мироощущение означают междометием «ну», придавая лишь различные звуковые оттенки этому глубокому и емкому откровению русского языка. Но есть уже и такие, которые и этим утомлены, они, эти новожители русской земли, или кивают головой, или презрительно щурятся, или рычат по-пещерно-звериному, или хрюкают на учителей и на родителей...

И правильно делают – заключу я от себя – за что боролись, на то и напоролись. А уж как боролись-то! Как боролись! Повсеместно, со всех сторон наступали на родной язык и создали язык отдельный, как бы в издевку сосуществующий с человеческим, оригинальным, ярким языком. И когда на экране телевизора полураздетая, а то и вовсе раздетая девица кривляется и вроде бы поет: «Я пришла, тебя не нашел...», а в ответ ей лохматый зверь не зверь, но и не человек хриплым голосом выдает: «А я пришел, тебя не нашел», – это уж звучит пленительно, как бы по-итальянски, как бы бельканто своего рода, если по-ранешнему, то будет: «Вернись в Сорренто, вернись ко мне!..»

Произошла подмена языка, люди начали объясняться с ближним более обидным, тюремно-лагерно-ссылным сленгом, который точно называется нашими современниками «блатнятиной»... Находясь в огромном гулаговском лагере, мы и не заметили, как привыкли не только к колючей проволоке, но и к сраму, за нею накапливаемому, в том числе и к «словесной энергетике», как виртуозно называют этот срам поднаторевшие в коммунистической идеологии-демагогии лжеученые, с позволения сказать – словесники.

Знакомясь с гулаговской литературой, в том числе и со словарями лагерного жаргона, я насчитал девять страниц словесной погани только по поводу деторожательного органа. Вообще среди злобного, черного, помойного мусора отдельному и особо изощренному словесному унижению и втоптыванию в грязь подвергалась и подвергается женщина, да и сами женщины, попавшие за охранную колючку, с лютой мстительностью гадят на себя и на все, что еще может называться

Астафьев Виктор Петрович Родной голос astafevvictor.ru
светлым и святым в этой все более сатанеющей жизни. Но слово «твою мать» бытовало и бытует не только за колючей проволокой. Выдь на Волгу, на Вятку, на Енисей, на реку с ласковым названием Лена – чего ты, любезный читатель, там и по всей Руси Великой услышишь?!

Жак Россел, отбывший семнадцать лет в наших лагерях и ссылках за то, что был мусью, говорит не по-русски, да еще и одет не в нашу телогрейку – в шляпе он и при галстуке – наипервейший это, наиматерейший шпион, составил и издал два тома гулаговского словаря. Просмотревши его, я еще раз ощутил полный отпад, как модно ныне говорить. Какая же бездна низости, зла, озверения, презрения, изгальства над всем человеческим, не говоря уж о святом, накоплена нами для погребения добра и всего прекрасного, накопленного разумом, стараниями человечества, страданиями и титаническим трудом гениев земли. Так Россел все же чужестранец и перевалил он за какой-то хребет, на котором означены границы добра и зла, и порой впадает в восторг, в дурачество от нашей российской способности так виртуозно преобразаться и все вокруг преобразать, не утрачивая при этом определенных, пусть и не всегда лучших национальных особенностей, терпения, бодрости, склонности к слезе, к жалости и словесному озорству, к товариществу, к артельности, но он же порой, в комментариях к гулаговскому словесному «богатству», качает головой: «Но, месье, это уж слишком даже для русских!»

У нас развелись тучи разных праздных, так называемых ученых предсказателей, уникальных прорицателей и просто людей, работающих в информационной сфере. Один мой односельчанин уверяет, что все это от нежелания работать на земле, вот, мол, и болтают всякую всячину, орут, космами трясут здоровенные, оголтелые, наглые мужики, которых, правда, и мужиками-то назвать можно с большой натяжкой – пьяные, порочные, распущенные до скотства... Все они сплошь да рядом композиторы, поэты и певцы, вызывают зависть и стремление к подражанию у незрелых, умственно недоразвитых юнцов обоего пола. Вот бы нашим предсказателям, этим группам или бандам социологов, институтам, все на умных машинах подсчитывающим, вещающим, предсказывающим, взять бы и подсчитать, какое же количество словесной блатнятины употребляется сейчас в школе, в вузах, на радио и телевидении, в театре и в кино, в обыденной и служебной жизни.

Я думаю, общество, мир и мы вместе со всеми охнули бы и за сердце схватились, обнаружив, что уже давно и так глубоко погрузились в словесную, червивую помойку, из которой выбраться потребуются немалые усилия всего народа и в отдельности каждого русского человека, разговаривающего, как ему кажется, на родном языке.

В Сибири есть еще села и даже районы, населенные старообрядцами, и, как-то рыбака на притоке Енисея, ночевал в в строобрядческом поселении и вдруг почувствовал, что разговаривают хозяева избы вроде бы как на иностранном, мало мне уже понятном языке, А говорили-то они как раз на чистейшем, образном русском языке, экономно при этом употребляя слова. Мы ведь говорим много, неинтересно, длинно и путанно оттого, что не знаем своего родного языка, не умеем, не научены им с толком пользоваться. Зато общество наше, в первую голову провинциально-партийное, подверженное обезьяньей привычке подражать всему «красивому», особенно если оно из столиц, с ходу, с лета заглатывает словесную требуху и аж закатывается от восторга и самоумиления.

Недавно у нас в Красноярске состоялось многокрасочное, многогромкое, многоболтливое торжество по случаю вступления в должность головы города, или градоначальника. И как назывался он, голова-то наш? Правильно – мэром! А торжество как? Правильно – инаугурация! И ораторы, и сам инаугуратор, и полторы тысячи человек, заполнивших зал, не знали, что обозначает сие слово, да и знать им было это неинтересно, ибо давно все привыкли слушать и говорить слова, не вникая в их смысл.

Я поднял своих знакомых ученых дам, которые, конечно же, тоже учились по советским учебникам, тоже слушали и не слышали трехчасовые доклады на партийных и прочих съездах, но еще и интерес к слову имели особый, индивидуальный и оттого умными слывут, и они объяснили, что слово, правильно произносимое «инкавгурация», происходит от древнеримского «авгур», и то ли птица была под этим названием, то ли коллегия жрецов, в греческую языковую систему перейдя из Рима, слово и смысл его, и значение несколько изменилось: инаугурация, аустация – опять же от авгуров, наблюдающих за птицами, на которых молились богам по случаю какого-нибудь торжества.

У-уф! И что же, все это учить людям, по полгода не получающим зарплату, запоминать муру, когда голова и сердце изболелись из-за неотремонтированного коммунального моста, из-за прорех и прорух в городском бюджете, из-за преступности, убывающей лишь в отчетах, из-за сирот, похорон, снижения рождаемости, подъема смертности среди населения города, из-за дорог, гнилых труб, все время лопающихся в земле, вот-вот готовых рассыпаться, из-за энергетики, из-за леса, из-за гор... едет дядюшка Егор...

Отколупал какой-то шибко грамотный обормот реликтовое слово с камней древности и в Кремль его затащил, пышную церемонию провел – красиво уж шибко было! И что провинции отставать? Жадная до всего модного, передового, показала она, что мы тоже можем щегольнуть, если захотим, да попутно и этому вечно недовольному Астафьеву урок преподадим, принудим его обогатиться словом, и пусть он тоже, приложив руки к сердцу, поклонится голове города, а не ворчит без толку.

После того как мы выбирали в голодной деревне и в подыхающих от дыма и газа городах в почетный президиум вождей, черт-те где и часто не в своем уме пребывающих, иль выдвигали в депутаты в старческий маразм впавших членов политбюро в каком-нибудь Пустозерске, зная, что могут они сюда прибыть разве что в почетную ссылку, меня уже ничем нельзя удивить. А все же удивляют: выходит местный деятель культуры, экономики иль науки и пошел чесать: импичмент, консенсус, менталитет, электорат, презентация, инвестиция, номинация, презерватизация... Хочется заорать, как в детстве: «Мама, роди меня обратно!» Или ближе к современному: «Во, мля, научили на свою голову!.. Во имидж!»

Забыли, забыли на Руси родной, что не раз были срамлены и биты за низкопоклонство; запямятовали, как в Отечественную войну 1812 года русские партизаны на вилы поднимали офицеров-соотечественников, не умеющих говорить по-русски, принимали их за «мусью».

Ох, как больно, порой трагично народу нашему обходились всяческая забывчивость и предательство, и прежде всего предательство впитанного с молоком матери родного языка.

Чему доброму научились за годы советской власти – не сразу и вспомнишь. А вот дурь, чванство – от высокого положения и должности – оно еще комчванством звалось, желание выглядеть патриотичней всех на свете, привычка к демонстрации силы и могущества, никогда, нигде не виданной умственности, склонность к пустословию, к похабству, в том числе и словесному, – оно повсеместно, оно всеядно, оно вокруг нас, и самое главное – оно в нас, в утробе, в крови, в сердце нашем.

Иногда уж сдается, что пошлее и дичее нас нет никого на свете. И не следует самоутешаться, кивать за океан, мол, все от них – нехристей. К заразе, принесенной на волнах океанов и морей, мы, русские, всегда были гостеприимны. Но все-таки и сами очень даже горазды нарожать сраму и гадости. И нарожали их столько, что не знаем, куда от всего этого деться, как защитить себя, в первую голову своих детей. Так что ж теперь? «Погибай, моя телега, все четыре колеса?!»

Нет, даже и в самые страшные, самые черные годы существования при советах мы хоть как-то и чему-нибудь да учились, и не только сопромату и прочим матам, но и разумному, вечному. Как-то тихо, отдельно, никому не мешая, учились и самоотверженно трудились наши словесники, заслонив своей, чаще всего женской, грудью наш родной язык. Давно и хорошо работают словесники Красноярского пединститута, теперь педуниверситета, тоже обезьянничанье. Как будто, переименовав институт в университет, не прибавив при этом содержание, то есть зарплату, не построив здание иль (хотя бы) не расширив аудитории, не благоустроив общежития, находясь все в той же позиции и амуниции, как себя ученым почувствуешь?

Так вот, хорошо, последовательно, упорно собирали и собирают наши земляки родное слово по нашему краю и, уж как им Господь пособляет, издают словари, реденько, с трудом совершают они это воистину патриотическое дело, можно сказать, творят подвиг во славу и на сохранение нашей национальной культуры.

Не на пустом месте совершают наши ученые, аспиранты и студенты благородное, творческое дело. Совсем неподалеку, в Томском госуниверситете (вроде бы пока еще

Астафьев Виктор Петрович Родной голос astafevvictor.ru не переименованном в академию?!), давно и плодотворно трудятся местные словесники и тоже издают, и тоже с трудом, словари, среди которых слова среднеобских говоров. Семь томов «Старожильческих говоров». Уникальный труд! Бесценный труд!

Помню, давно уже, Виль Липатов, почти безвылазно живший в переделкинском Доме творчества, зазвал меня в свою комнату и, любовно оглаживая скромно изданную книгу, заявил: «А вот этого-то у тебя нет, хоть ты и в сибиряках числишься». «А вот и есть! А вот и есть!», – отвечивал я. Тогда Липатов начал выбрасывать из тумбочки и из стола словари томичей: «А это? А это?» – и, узнав, что томичи присылают мне в Вологду словари, и красноярцы присылают, и комплименты, которыми меня осыпают критики и читатели за знание родного языка, надо бы адресовать на кафедры русского языка Томского университета и в Красноярский пединститут, Виль Липатов мрачно сказал, мол, ты хоть по Москве не треплись, что эти сокровища у тебя есть, я ж всем показываю, хвастаюсь ими, – и что было для него нехарактерно, грустно добавил (а было это незадолго до его преждевременной смерти): «Больше-то мне нечем, вот и хвастаюсь словарями да тем, что я сибиряк».

Попутно замечу, что землячество объединяло всех сибиряков и на фронте. В толчее армейской, в окопном скопище поговору узнавали чалдоны друг друга и так светло радовались этому – язык объединял нас, роднил.

И в литературе, еще на ранней стадии, пышно говоря, моего творчества, ученый и пронзительный человек, главный редактор Пермского издательства Борис Никандрович Назаровский, долго живший в Сибири, сказал мне:

– Виктор Петрович, пой свою родную Сибирь, не поддельвайся под Урал, не надо, не получится, язык-то один, русский, но произношение, но характер их разные...

То же и в литературе. Сергей Павлович Залыгин, Николай Николаевич Яновский, Сергей Сартаков, Владимир Чивилихин, тот же Виль Липатов, Василий Федоров, Аскольд Якубовский, Ефим Пермитин и многие-многие другие, оказавшиеся жителями столицы, за счастье почитали встретиться, пообщаться, потолковать о Сибири «по-сибирски». И более молодые, но тоже уже постаревшие, живущие по-за столицей – Валентин Распутин, Геннадий Машкин, Владимир Сапожников, Николай Волокитин, Дмитрий Сергеев, Вадим Макшеев, Юван Шесталов, если даже и развела их жизнь, землячеством и родным, «нашим» словом все равно объединены и, надеюсь, «по ту сторону», как и наши великие русские классики, не единожды разъединявшиеся жизнью с помощью времени, не знающего смерти и разлада, будут соединены и Богом прощены за обиды, друг другу нанесенные, ибо неразумные чада не ведают, что творят.

Томские радители слова уже выдвигались на соискание Государственной премии, но в то время, когда сталь, чугун, цемент, глинозем и навоз ценились больше и ставились выше, чем родное слово, добываемое по крупицам из наших обширных народных недр.

Ныне томичей снова выдвинули на Государственную премию – за издание словарей последних лет, в том числе за «Среднеобские» словари, за «Мотивационный диалектический словарь». А я бы отдельную им премию вырешил – за несколько томов «Старожильческих говоров».

О томских тружениках кафедры русского языка писали Евгений Пермяк, Георгий Марков, Валентин Распутин и Владимир Чивилихин. Я присоединяю свой голос к этому достославному списку и посылаю соответствующую бумагу в комитет по госпремиям с надеждой, что настало время ценить и поощрять тех, кто помогает сохранить и вернуть нам самое дорогое, что у нас еще есть, наше родное слово – основу основ нашей жизни.

Месяцами пропадавшие мальми, совсем не богатырскими артельками в таежных селах, в старообрядческих заимках, часто питаюсь «от мира» иль подножными травками, чего уж Бог пошлет, съедаемые комарами и мошкой, они, собиратели словесных кладов, таки «освоили Сибирь» раньше наших строителей-разбойников, энергетиков – яростных покорителей рек и передовых отрядов разведчиков недр, иссекших просеками необъятную бескрайнюю тайгу, измордовавших взрывами, яминами шурфов, котлованами, карьерами сибирский материк.

Может, и любили словесников и фольклористов везде и всюду за тихий нрав, за

Астафьев Виктор Петрович Родной голос astafevvictor.ru
пусть и не совсем понятную, но тихую работу, помогали чем могли, берегли, иногда и из беды выручали.

В реферате под названием «Комплексное исследование русских говоров среднего Приобья (1964–1995 годов)», представленном на соискание Государственной премии России, томичи пишут: «Регион среднего Приобья (территория Томской и Кемеровской областей), представлявший в 50-е годы XX века белое пятно на диалектической карте России, ныне является самым изученным регионом страны благодаря многоаспектным исследованиям томской диалектологической школы, отличительную черту которой составляет комплексный анализ всех уровней диалекта, опирающийся на системный подход и сопровождающийся разработкой научных концепций, направлений, аспектов»... ну и т. д. и т. п. И все правильно, и насчет анализов, и насчет концепций, и аспектов тоже. Но кто же вам, ученые головы, за это премию-то даст? Жизнь-то какая идет? Бесы с микрофонами топчут, бесихи ляжками виляют так, что все вокруг дымится, ученые и ученики каких-то неизвестных наук с бревном на Москву, на комитеты эти прут и таранят ворота, как при половцах, Жириновский страну и Думу сотрясает, правители деньги на зарплату ищут и нигде не могут найти – так их порастеряли в преобразовательном-то пути иль спрятали в такие места, где только танку и доступно, а вы тут с диалектами, да еще и со среднеобскими. Где она, та Обь? Что за баба? Почему до сих пор не в ногу с обществом идет, не перестроилась, говорит на диалектах...

Простите уж меня, родные мои томичи и дорогие мои читатели. Пошутковал маленько. Но уж такой ли беззащитностью веет от бумаг, присланных из Томского университета, такое ли в них старомодное смирение...

Опять же: не всем звереть, не всем орать и из глотки вырывать. Все мы устали и от ора, и от хамства, и от невнимания к истинным национальным ценностям.

В письме ко мне от имени «словарников», как сообщает зав. кафедрой русского языка Томского университета профессор Ольга Иосифовна Блинова составитель и редактор многих словарей, «накопилось много материала, лежит без движения „Словарь образных слов и выражений народного говора“ – пять выпусков, „вершининский словарь“, – и вот если бы вы нас поддержали и нам бы премию дали, мы бы на эти деньги издали эти и другие словари».

Не о туфлях, не о мебели, не о тряпках мечтают истинные подвижники науки, а о том, как сохранить нашу отечественную культуру, наше родное, в темный угол загнанное, в грязь втоптанное, в срам и стыд превращенное родное слово.

Неужели и на этот раз никто нас, в Сибири живущих и работающих, не услышит и не поддержит? Неужели есть ценности и дела более важные и народу нужные, чем те, что, не побоюсь громких слов, беззаветно творят русские сибирские ученые-словесники, сплошь почти женщины, некоторые из них уже и покинули земные пределы, не изведав почестей и славы, которой они достойны.

Всемиловейший наш Господь! Дай силы и терпения нашим труженицам-ученым, всечасно помогай им творить святой труд!

Российский комитет, который в Москве заседает, вырешит премию русским ученым-словарникам Томска, не то мы отделимся от вас в Сибири и станем вовремя, как вы в столице, получать зарплату и пенсии, а также выдавать достойным людям премии из собственных средств!

Сгорит божественная скрипка

Два письма-ответа на вопросы корреспондента журнала

«Российская провинция»

1. Как сложилась Ваша жизнь сегодня – не писательская, а человеческая, с горем и радостью, с потерями и приобретениями? Как строится Ваш трудовой день, когда Вы не за письменным столом – жена, внуки, сад, огород, охота... Сомерсет Моэм написал как-то: «Жизнь сладка и печальна». В чем сегодня для Вас, зрелого мужчины и человека, ее сладость и печаль?

2. Родясь в Ленинграде и многие уже годы живя в Москве, самом нынче тяжелом городе России, я ярко помню четыре года эвакуации в деревне под Ветлугой, на родине деда. Остальные мои деды и бабки, отец и мать тверичи. Я, по сути, не жила в так называемой провинции, но духом ее чую. И хотя на провинцию сейчас дурная мода и модно говорить, что Россия спасется провинцией, хотелось знать Ваше мнение – что драгоценного и что отвратительного скрывает в себе провинциальное житье-бытье. И как Вы умудряетесь не потерять и впитать в себя драгоценное и противостоять отвратительному?

3. Деление на «столицу» и «провинцию», на мой взгляд, всегда условно. Столица во многом провинциальной и косней географической провинции, особенно сейчас. Не наступит ли в обозримом будущем некое равновесие нравственное, культурное, экономическое, мировоззренческое, причем с перевесом провинции? И если не наступит, то почему?

4. В одном из своих интервью Вы сказали: «Не хватало мне духовного начала» (речь шла о диссидентстве). В отличие от многих Вы способны оценить себя критически, как всякий истинно интеллигентный человек; но ведь хватило же у Вас духовного начала, чтобы отказаться от всяческой мишуры и мнимых соблазнов литературных постов, от столичной суеты, от беспрестанных словопрений, в которых растворились бесследно многие одаренные люди. Каким же внутренним правилом Вы руководствуетесь в своей жизни?

5. «Болят старые раны» – так Вы хотите назвать новую Вашу книгу. Так можно определить и жизнь не только Вашего, сугубо военного, поколения, но и моего, чуть помладше, кого война захватила в детском возрасте, но оделила и голодом, и бомбежками, и страхом. Может быть, Вы уже слышали о том, что в моем родном С.-Петербурге накануне дня Победы разбросали листовку – призыв к ветеранам войны и к пенсионерам добровольно покончить счеты с жизнью, чтобы освободить «плацдарм» для молодых. Что это, очередное желание «умыть друг друга кровью» (цитирую Вас) или созревание пещерного человека?

Когда-то Вы сказали, что «совместимость – это наипервейший признак большой внутренней культуры человека». Я лично делаю ударение не столько на слове «культура», сколько на слове «человек». Как Вы объясняете эту страшную деформацию нынешних молодых (да и не только молодых) «человеков»?

6. Где-то у Вас проскользнула мысль: я не знаю, как помочь своему народу (приблизительно). Может быть, потому, что, как Вы написали, «народ во мне», а себе всегда помочь трудней? И надо ли помогать, спасти Россию, захочет – сама выживет, триста лет под татарами сидела, не иссякла... А народ-то «наджабленный» восстановит ли целостность своей души?

7. В «Плацдарме» (а там есть просто удивительные попадания в яблочко) я прочитала: «Кучи болтливых лодырей, не понимающих, что такое труд, что за ценность каждая человеческая жизнь, что за бесценное создание хлебное поле...» Там это относится к войне, но ведь и к сегодняшней нашей жизни! Особенно о хлебном поле, о котором Вы прямо-таки по-библейски выразились: «Творя хлебное поле, человек сотворил самого себя».

8. Какой силой надо обладать, чтобы добровольно еще раз пропустить через себя ужас войны, вывернуться наизнанку, рвать душу и через пятьдесят лет. Что это – каторга писательства или крик в будущее, к потомкам?

СГОРИТ БОЖЕСТВЕННАЯ СКРИПКА...

УВАЖАЕМАЯ ИННА СЕРГЕЕВНА!

Почти каждый вопрос в Вашем письме требует пространного размышления, а делать

Астафьев Виктор Петрович Родной голос astafevvictor.ru
это мне сейчас некогда, да и не хочется уже. Много все мы наговорили с трибун и печатно, и наставительно-поучительского, порой даже и умного, а толку...

Причина главнейшая – переворот в октябре семнадцатого года и царство разрушительной системы. Удивляться только приходится, что в России еще что-то устояло, осталось после хозяйничания коммунистов, которые оказались страшнее всяких иноземных врагов. Значит, крепок был русский народ! Ни один народ в мире не выдержал бы тех испытаний, страданий, глумления и физического истребления, какие выдержал наш народ. Но он надсажен, поруган, поставлен на колени и остались ли в нем достаточные силы, физические и нравственные, чтобы подняться с колен – я с определенностью ответить не могу.

Насчет «выжженного поля» – конечно же, преувеличение. Кто-то очень хочет внушить нам этот образ, каким-то давним «дружелюбным» силам шибко хочется на месте, и давно уже, видеть «выжженное поле» или крепость, огромный полигон, однако государство огромно, в нем соответственно и дичь огромная, и безумство, коли оно торжествует всесметающе, но в нем культура и ее традиции так же громадны, так же многообъемны и всепроникающи, что взять их и выжечь, как русский лес, или сравнить его вредителю-шелкопряду, как это произошло на наших таежных пространствах, невозможно. Русские люди доказали, что живя далеко от Родины, давимые, гонимые, презираемые ею, если в их кровь проникли свет и соки отечественной культуры, уже никогда не станут «иностранцами». По духу, по укладу верования и мыслей они останутся навсегда Иванами, помнящими родство.

Ярчайший пример тому старообрядчество. Гонимое веками и особенно яростно истребляемое при советской власти, оно сохранило облик свой и суть свою, не поддаваясь ни великой коммунистической пропаганде, ни отравленным подачкам в виде «хлеба и воли», на которые так охотно клюнули и российский рабочий класс, и даже крестьянство, прежде всего среднерусское, малоземельное, клюнули даже казаки на большевистскую наживку и разрушились как крепкое сословие. Теперь вот, ряженые под казаков, появились, надевши дедушкины или купленные на барахолке награды, погоны и нагайки, наивные люди решили, что казачество возродилось. А вот старообрядчеству, уцелевшему на Руси просторной, ни во что рядиться не надо, оно стоит непоколебимо на своей прежней вере, ведет свою борозду на земле, правит свою мораль, и недавно сибирские старообрядцы, чистые люди, отказались от государственных пенсий, посчитав сии деньги подачкой «от дьявола». И они не пропадут без пенсий, потому как за века борьбы с чужебесием научились не только хранить свою молитву, но и добывать хлеб насущный своим трудом, жить своими силами и возможностями природы, их окружающей.

Если и суждено России возродиться, то пойдет то возрождение от старообрядческого сословия и близко с ним соприкасающегося народа, ибо физически старообрядцы сохранились лучше «пролетарьята», и по российским селам еще можно встретить белокурого, голубоглазого славянина.

Я думаю, что и власти, и деятели культуры, и все общество в целом виновато в том, что с нами произошло и что мы до конца еще так и не осознали, хотя нет-нет да и раздаются голоса: «Мне не в чем каяться». И как это может человек, проживший семьдесят лет в бардаке, сохранить свою невинность?! Остается только удивляться. Не знаю, помнит ли сам Горбачев, но я хорошо помню, как, читая пространный доклад (пресса тут же назвала его вдумчивым!) на девятнадцатой партийной конференции, он вдруг остановился, снял очки и, печально глядя в зал, молвил: «Ну, товарищи! Даже мы не ожидали такого развала!» Вот и многие из бывших коммунистов не знали не только о глубине и масштабах «развала» в стране, о преступлениях, творимых родной его партией, но и о том «развале», который в собственной душе давно произошел и разрушил ее, душу-то, подверг искажению и деформации саму человеческую сущность, из человека сделал раба и зверя, которым вместе долго сосуществовать невозможно, кто-то кого-то доведет до крайности, должен сожрать, вот и жрал зверь человека и остались от него «рожки да ножки», да мешок, набитый костями, без цели, без мыслей, без веры и пристанища, куда толкнут, туда и идет, чего дадут, то и жрет, что скажут, тому и внимает. Я думаю, тяжелее всего нынче истинным, прозревающим коммунистам, у которых не изоржавела душа, не утрачено чувство совести и ответственности не только за себя, но и за жизнь, которую они, как им казалось, строили. Их немного, но они есть. Я человек, наверное, десять встречал за свою жизнь истинных коммунистов, остальных же они сами и поистребляли, низводя постепенно партию свою до сборища полуграмотных, болтливых, вороватых и жестоких ничтожеств.

Астафьев Виктор Петрович Родной голос astafevvictor.ru

Прежде всего надо прямо и честно спросить себя: «А есть ли она у нас, „народная интеллигенция“?» Потом уж с нее и спрашивать «духовного ободрения». Тоже, как и настоящих коммунистов, истинных интеллигентов я встречал за жизнь свою не более десятка. Но пятеро из мною встреченных на боевом и творческом пути интеллигентов – уже на кладбище отдыхают, а пятеро еле ноги таскают – старые, усталые, больные, но еще «держат тон», еще нет-нет и высунутся, окрик сделают иль чего разумное произнесут. Но кто же их слышит? Кто им внимает? Вон какой гвалт крутом, бесовство, кружение, рык и вой – попробуй тут расслышать пятиголосый писк интеллигентский. Это ж какой слух-то надо тонкуший иметь, какое чуткое сердце, какой просветленный разум? А где их взять-то? Из чего? От кого? Из церкви? От духовенства? Но оно, надсаженное и государственными налогами давимое, будучи отделенным от государства, только еще выходит из-под руин, с кряхтеньем, с недопомоганием, с деформированным, полусломленным позвоночником и искаженными иль временем опровергнутыми постулатами. Дай Бог поскорее восстать из пепла нашей православной церкви и вере, но нужно время, а времени-то у нас на воскресение почти и не остается.

О каком превосходстве речь? Окститесь, люди православные! К «превосходству» истинная интеллигенция никогда не стремилась, она, истинная, всегда пыталась быть «Слугой» или уж «наставником» народа своего, всегда готова была стать жертвой его и в конце концов стала таковой, увы, жертвой напрасной. И не заметила этого. Круг тех писателей, к которым я имею счастье принадлежать, стесняется называть себя «писателями». Они все и я тоже страдаем врожденным и внушенным комплексом неполноценности. Нам бы хоть немного самоуверенности или, на худой конец, «развязности Балтазара Балтазаровича», а то всю жизнь в угол, в тень старались спрятаться и надо было нас оттудова арканом вытаскивать или уж вынудить выскочить с кулаками на драку...

Нет, литератор, если он от Бога, не может быть «пораженным» и «побежденным», тем более «духовно», не в его силах оставить перо и бумагу, он обречен работать до последнего вдоха, «без выходных и отпусков», и когда начнет умирать, последней его мыслью, наверное, будет: «Так вот она какая, смерть-то! Всю жизнь неправильно писал, надо бы подняться, правильно написать...» Пока человеческая мысль работает, происходит и духовное напряжение или, как считалось, так у нас и считается, что писатель лишь тогда и работает, когда сидит за столом и ручкой по бумаге водит?

О-о-о, Боже! До каких только упрощений не дошли мы и вот с этих упрощенных позиций задаем вопросы, «качаем права»! Меня на встрече с читателями всегда умиляет вопрос «Как Вы пишете, из головы или так?» На подобный вопрос не может быть серьезного ответа, и я обычно отделяюсь шуткой: «Иногда из головы, иногда так». Но вот простенький с виду вопрос «Как жить?», задаваемый всюду и везде с обидой и плаксивой претензией, меня всегда приводит в неистовство, и я говорил и говорю: «Как учил Христос. Всего хотя бы три-четыре его заповеди: не укради, не убий, не пожелай жены ближнего своего, трудись в поте лица своего...»; «Чего ж вы не жили и не живете по этим вечным заповедям, граждане мои родные? Трудно жить праведно, да? Большевики чуть поправили сии заповеди, переписали их на свой лад, поманили вас – блудом и дармовым хлебом! Вы и ринулись стадом за ними, а теперь вот виноватых ищете...»

Они, большевики-то, и сейчас главные смутьяны в стране и в мире, не сеявши, не пахавши, сулят накормить и напоить якобы не ими обездоленный народ и наладить жизнь в стране, якобы не ими изнахраченную. И ведь снова есть желающие бежать за кормилицей-партией с протянутой рукой: «Дай, любимая! Накорми, родная!..»

Слово «патриотизм» у нас искажено и скомпрометировано навсегда, и воспринимается оно только в искаженном смысле. Если воспрянет сам истинный патриотизм в России, тогда и слово может совсем другое родиться иль возродиться, а пока его произносят лишь с издевкой, с глумлением.

Рерих еще мог рассуждать о высоких материях и остается ему и его времени лишь позавидовать. Но, побывавши в некоторых странах, в особенности в древних, «ознакомившись», пусть и бегло, с культурным наследием человечества, я понял одно: это оно, человечество, обязано культуре, иначе оно упало бы снова на четвереньки. А культура – человечеству, пусть и в муках ее родившему, спасла мир от одичания. Будем надеяться, что и родившие ее поймут, что это поставить на колени нельзя, оно уже выше нас, мечущихся людей, оно в небе, его, это, прежде всего музыку, даже водородной бомбой не убить – сгорит деревянная скрипка,

Астафьев Виктор Петрович Родной голос astafevvictor.ru
останется божественный звук! На этом стоим и стоять будем!

Сквозь февраль

(журнал «Российская провинция»)

Сквозь февраль
Следы как многоточие.
Встречи миг неповторим.
Путь для нас
становится короче.
Снег скрипит.
Я больше не один.

Вот и месяц пролетел, как я в больнице, в старости она нисколько не милей, чем в молодости, привычной разве. Марья моя ездила следом за мной в деревню, чтобы привезти впопыхах оставленное мной имущество, в том числе и оставленную адресную книжку, но в пути попала в автоаварию и ей поломало «рабочую» – левую руку. Но и она уже перемаяла беду эту, завтра поедет снимать гипс, А я днями покину больницу и потому спешу Вам ответить дома-то могу не собраться – дела, суета, отвычка от стола и всякое другое разноделье отвлекут, отдернут от бумаги и ручки...

Однажды Кио – фокусника и веселого человека – спросили по телевидению (и мне очень понравился его ответ): отчего он не уехал или не остался «тама», ведь там ему было бы легче и лучше. «А я, – говорит, – встретил в Израиле русскую старушку и спросил: „Как тебе, бабушка, здесь живется?“ „А хорошо, милай, хорошо, – ответила старушка. – Мне и в Расее жилось хорошо, и тут хорошо живется. Это евреям везде худо, все они жалуются...“»

Вот и мне, как той бабушке, живется хорошо, если работается, а радости, как и горести, они и в столице, и на периферии остаются радостями и горестями. Сам человек творит себя и, в какой-то мере, свою судьбу; иное дело, что судьба русского человека завертывает иной раз такие кренделя... но все же чаще всего кренделя сам русский человек горазд выделять и стряпать. Сейчас вот, когда я пишу эти строки, празднуется иль отмечается столетие Сергея Есенина. На этот раз, достойно судьбы и таланта поэта, делается это без треску, без охов и ахов, без надевания на голову поэта венца из желтых одуванчиков, она у него и без того золотая. И что же жалеть его? Жалеть ему иной доли? «Лучшего» конца? По-моему, только молиться и радоваться надо, что мир наш посетил рожденный российской землей истинно природный и богоданный гений да и осветил его и нас, россиян, со всех сторон высветил, как месяц ясный. Не знаю, да нет, знаю, что многим читающим людям он помог стать в жизни лучше и стихами, и мученической душой своей. Большой талант – это не только награда, но и мучение за несовершенную жизнь нашу, ниспосланную Богом, которого мы не слышим оттого, что не слушаем. Неведомые нам мучения терзали и уносили в ранние могилы не одного Есенина, но и божественного Рафаэля, муками таланта раздавленных Вольфганга Моцарта, Франца Шуберта, Лермонтова, Пушкина – у гигантов духа и муки гигантские, не нам, грешным, судить и поучать их за их жизнь и метания. Нам остается лишь благодарно кланяться их ранним могилам и славить Господа за счастье приобщения к творениям гениальных творцов.

В приснопамятные тридцатые годы везли по Сибири священнослужителей на расстрел, и в Красноярске родственники каким-то образом исхитрились повидаться со своим родным священником-смертником и, зная, что им больше не свидеться, плача, спросили сродники: «Что же нам-то тут делать?» «Радуйтесь!» – ответил смертник.

«Жизнь сладка и печальна», – совершенно точные, совершенно ясные слова Сомерсета Моэма. И во власти каждого человека увеличить свои радости и поубавить печали.

Вот приближается немаловажное в нашей совместной с Марией Семеновной жизни

Астафьев Виктор Петрович Родной голос astafevvictor.ru
событие – пятидесятилетие. 26 октября. Жизнь – то за плечами и за горами ой-ей
какая осталась. Было много горя, теряли детей, и малых, и больших, родителей
перехоронили, друзей. Случалось, обижал, огорчал ее, но и делал подарки, покупал
что-нибудь из вещей, не забывал за добро говорить спасибо. Но я был лесной
бродяга, рано по весне бродил с ружьишкой и, наткнувшись на первые цветы, чаще
всего на беленькие ветреницы, сиреневые хохлатки, медуницы или волчье лыко,
непрерывно, на груди согревая, приносил ей букетик. Вот их-то, цветы-то
весенние, а не туфли, не платишки, купленные в магазине, иной раз и в
заграничном, она и помнит радостней всего.

Всегда и все делал я рывком, с маху, поэтому рабочего дня, как такового, у меня
нет. Если же писал и пишу большую вещь, втянувшись в нее, начинаю как бы
выстраивать жизнь, подчинять ее и свое время этой работе. Очень болезненно
переживаю перерывы, долго не могу «наладиться» после затяжного периода отрыва от
стола. Были и есть странности, свойственные, наверное, только мне. Если Марья
Семеновна надолго отлучалась из дома, чаще всего в больницу, я непременно
начинал лихорадочно работать. Видимо, это мой инстинктивный способ самозащиты от
одиночества и горя, а проверенный русский способ – «залить горе вином» – мне не
подошел, не годится эта самозащита, приносит еще больше боли и тоски, но не
утешение.

Все говорим и говорим об устройстве России – нам всем об этом не переговорить,
но лучше бы все же работать каждому на своем месте и как можно усердней и
профессиональней. Нас губила и губит полурбота, полуслужба,
полуинтеллигентность, полуобразование... И провинцией Россия не спасется – это
самообман и крючкотворство, ибо давно смешались границы столичной и
провинциальной русской дури, а столичная пошлость, достигнув наших дальних
берегов, становится лишь громогласней, вычурней и отвратительней. Если бы Вы
знали, сколько по нашим сибирским шинкам и бардакам кривляется ребятишек, вопя
под Пугачеву, под Леонтьева, под Понаровскую и прочая, прочая... Вот под наших
земляков – певца Хворостовского или скрипача Третьякова не поют и не играют –
тут талант и труд нужны. Потуги выглядят «иностранцами», обрядившись во все
модное или присвоив исчужа завезенные замашки мотов и денди, выдают в провинции
все того же незабвенного Яшку-телеграфиста, а нахвтанность «культуры» и умение
подать себя другим – «Якова верного, холуя примерного», у которого и болезнь-то
«подагрой называется». Остаться же самим собой возможно везде, мне удавалось
всегда без большого усилия. Наверное, как-то сама природа заботится об этом и не
надо ее из себя изгонять и сопротивляться ей, подделываясь под сиюминутные
ветродувы.

Другое дело – мировоззрение. Конечно же, оно не может не изменяться, порождая
душевные и прочие противозрения как с обществом, так и с самим собой. И чем
больше дано человеку, тем подвижней, тем изменчивей и сложнее его мировоззрение.
В русской литературе самый противоречивый гигант ее Лев Толстой. Его уход из
дома в глубокой старости мой покойный друг, критик Александр Макаров в одном из
писем ко мне назвал «юношеским поступком», и я с ним совершенно согласен. Даже
бревно меняется со временем: гниет, тлеет, рассыпается. Лишь закоренелые
большевики не меняются и настаивают на неизменности общества, но и они попали в
«застой», и поэтому от них несет запахом разлагающегося трупа, который от
немеркнущей злобы все еще пытается взлягнуть ногой или укусить что-нибудь живое.

Нет, не надо преувеличивать значение провинции в нашей жизни; тут почище и
почестней маленько, чем в столицах, но по-прежнему царит непробудное пьянство,
уремная тьма и трусость, желание хапнуть и не попасться, фамусовская
угодливость, ноздревская бойкая хамоватость и наглость да неукротимая тупость
Собакевича.

Конечно же, провинция вынуждена самозащищаться от всех пакостей, на нее
наседающих и сверху, и снизу, и справа, и слева. Есть и появляются в ней светлые
головы, умные люди, старательные работники. Но темные силы, наступающие на
русскую провинцию, так огромны, так запущена земля и душа русская, что
пробудиться ей – все равно что сотворить духовный подвиг. А готова ли она к
такому подвигу, я утвердительно сказать не рискну – очень уж инертна, очень
равнодушна, очень усталая от всех бед и напастей матушка-Русь, и неоткуда взять
ей могучей силы. Крестьянство – опора державы – разрушено, разогнано, растлено,
«из-за сброда – не видать народа», как сказал один современный поэт. Наладить
жизнь, унять разброд и болтологию, разор и воровство под силу только очень
сильному и дружному народу; наверное, много времени, много жертв потребуется,

Астафьев Виктор Петрович Родной голос astafevvictor.ru

пока он сделается таковым. Зачатки есть, но как им развиваться, когда отцы и деды, пережившие небывалые испытания, невзгоды, понеся огромные потери, прежде всего нравственные, не выдержав свободы, испугавшись испытания самостоятельной жизнью, снова хотят полуроботы, полужизни, полудостатка и согласны жить под ружьем и надзором, но зато «спокойно», то есть от аванса до полочки, не сводя концы с концами. Зато не надо ни о чем думать, не надо ни о чем тревожиться, куда-то устремляться – народ настолько ослабел духовно, что и не взыскует лучшей жизни, а уж «ломить хребет за светлое будущее» тем более не станет. Он знает, что это такое, он на себе испытал все прелести «борьбы» и устремлений ко всеобщему счастью. Иногда еще вздрогнет, зашевелится, если предложат на халяву пожить, сделаться богатым и на рубль получить тыщу. И когда обнаружит, что ему, как малому дитю, вместо конфеты дадут пустую обертку, начинает ныть, проклинать все и вся, прежде всего тех, кому «на халяву» удалось урвать кое-что, ну и, конечно, бладевать правительство, коль позволено его бранить.

Мало что меняется на Руси: «Обидели юродивого, отняли копеечку, не надо молиться за преступного царя-Бориса» – это когда написано-то? А вон какая вечная и злободневная ария!

Воистину слабый, воистину беззащитный народ тот, который сам за себя ни постоять, ни помолиться не может и, главное, не хочет! Куда несет, туда и плывет. Вот снова на посулы большевистские поддается, снова «отобрать все у богатых» намерен и хоть краткое время пожить беззаботно, но, главное, отомстить тем, кто «высовывается», кто может работать, умеет и хочет жить своим Трудом и достаток иметь по труду. Нет, будь как все, нищим, сырым, бойся всего и самого себя, а буржуйские мечтания изжить бедность, добыть трудом богатство, пусть у буржуев и остаются. Мы, как всегда, готовы быть бедными, но гордыми.

Я смотрю и дивлюсь, как это недруги до сих пор не аадавили, не прикончили Никиту Михалкова – человека, который может все в своей профессии, человека, который сам, на свои деньги, содержит семью; человека, который умеет нажить эти деньги, да еще и общественной работой занимается успеваает, да еще успеваает не только Родину любить и народ, но и помогать им своим искусством, своим нравственным примером, теми же деньжонками и на уровне высшего, мирового искусства прославлять эту самую Родину, утереть нос, если потребуется – и кулаком, тем, кто с захлебом и восторгом кричит, что с Россией все кончено, народ российский закатился и «России нет, Россия вышла и не звонит в колокола...» Звонит! Снова звонит, воскрешая дух и талант в той части россиян, которые не во сне достаток и достоинство свое видят, а наяву, делом добывают пропитание свое и талантом своим крепят мускул державы и народа.

Целая плеяда ушла от нас артистов, художников и писателей, не пряниками вскормленная, а чаще мерзлой картохой, солдатской и тюремной пайки хватившая, бревна и камень в невольничьем труде поворочавшая, но не утратившая ни интеллигентности, ни национального достоинства, ни Бога в душе. Чаще, чаще надо поминать этих людей добрыми делами. Они, страстотерпцы, в цепях закованные, работали, творили, укрепляя нашу веру и надежду в неиссякаемую силу и величие земли и народа, их породивших.

Николай Симонов, Олег Борисов, Георгий Товстоногов, Иннокентий Смоктуновский, Сергей Бондарчук, Анатолий Эфрос, поэты Владимир Высоцкий, Борис Чичибабин, целая плеяда актеров Малого театра и того, еще не располовиненного МХАТа – это все недавние потери и утраты, их память горит неугасимыми лампадами, не давая нам уж вовсе-то опуститься во тьму кромешную, в полный сон, безверие и безделие.

И ныне среди нас не чадят головешками, а горят, сгорают до срока огнем, согревающим всех нас, истинные интеллигенты, не позволяя сделать ругательно-нецензурным само слово – интеллигент: ушедшие от нас тихо и незаметно Алексей Федорович Лосев, Владимир Бахтин, Юрий Лотман, Александр Макаров, Юрий Селезнев, Александр Твардовский, Олег Волков и живущие ныне Дмитрий Сергеевич Лихачев, Сергей Аверинцев, Александр Михайлович Панченко, Ирина Александровна Антонова, Александр Исаевич Солженицын, Сергей Павлович Залыгин, подвиг которого и пример служения не только литературе, но и Родине своей, защищаемой от надругательства, разорения и разгрома бесценен. Чего стоило только одно достижение, превратившееся в сражение остановка проекта о повороте на юг и переброске вод русских рек в «дружеские» республики, которые, как оказалось, не научились даже такой малости, как благодарность. Наши реки оказались бы теперь «за границей», и нас же кляли бы и смеялись над тем, что такие мы простодыры.

Неблагодарность и вечную неприязнь азиатов к исконно русскому населению в Казахстане, Киргизии, Туркменистане, Узбекистане, Азербайджане, Грузии не спрятать за азиатско-кавказским лукавством, и лозунги, писанные пока еще на заборах узбекских кишлаков и городов: «Русские, не уезжайте, нам нужны рабы» – это ведь явь, тщательно скрываемая как нашими новоиспеченными правителями, так и современными баями, недавними секретарями ЦК, председателями Верховных Советов и прочей парткамарильей вчерашних «дружественных» республик.

Вернусь к Александру Исаевичу Солженицыну. Его приезд «домой» – это событие не только для всей культурной жизни России, но и сдвиг в сознании всей мировой интеллигенции, событие, нами пока не осознанное, но многих раздражившее – сам шевелит мозгами и заставляет всех нас тревожиться за свою судьбу, озаботиться заботами России и добиваться блага, строить жизнь собственными руками, собственным трудом. «Эка, явился указчик!» – да, и указчик, и направитель, а не пустозвон-коммунист, для которого наобещать с три короба и ничего не сделать – естественный поступок.

Солженицын прежде всего сострадаaniem, сочувствием своему народу и Родине своей помогает взнать лицо к небу, укрепиться на земле он нам помогает. Он истинный праведник, взывавший к Богу и добру, а не тот, что тоже явившись на родину, поддакивал партийной банде и разъяренной толпе: «Если враг не сдается, его уничтожают», видя, что во враги тут могут зачислить кого угодно, зачислят и самого новоприбывшего провозвестника-буревестника, не пощадят ни сына, ни отца...

Ну вот, из больницы выписался, зима наступила, Марии Семеновне гипс сняли, орудует своей левой на кухне и в ванной возле стиральной машины. «Отвели» мы и пятидесятилетие совместной жизни. Хотелось сделать это потише и поуже – не получилось. Значит, кто-то еще помнит и уважает нас. И добро, и ладно. Будем жить дальше и проживем Богом отпущенный срок, как положено старым людям – тихо и мирно, если позволят обстоятельства и жизнь наша снова с «оси» не сойдет.

Началась предвыборная вакханалия, и опять, в который уж раз, обнажилась убогая наша мысль и неловкая, топорная хитрость. Снова какие-то добры молодцы клянут демократию, сулят спасение и блага, а народ, у которого не только «отняли копеечку» из сбережений, а уже и заработанное не платят, мокрый от осеннего снега, обескураженный и потерянный, толпится возле каких-то контор и зданий, куда снесли последние деньжонки; и несколько наши провинциалы не отличаются от столичных горюнов, – ни одеждой, ни мольбой. Все дружно ругают президента (разрешено же!), а виноват-то он лишь в том, что впрягся в эту громящую телегу, не сознавая, видимо, что гора высока, и колдобины на российском пути глубокие, и никуда, ничего и никому не вывезти. Уже в 90-м году было ясно, что народ наш не готов к крупным переменам, к решению колоссальных задач. Давно он сломан, раздроблен, не обладает тем сильным характером, который ему приписали. «Что такое перестройка?» – задавал себе и нам вопрос добра нам желавший главный зачинатель перестройки и сам себе и нам ответил; «Чтобы каждый человек на своем месте добросовестно исполнял свое дело».

Так просто! Но для исполнения добросовестно своего дела требуются квалификация, устремление к совершенствованию своего труда и непременно самостоятельность, да и само дело – стоящее, нужное как самому трудящемуся, так и его детям. Но какой с него спрос, если он десятки лет гнал свою продукцию, часто не зная ее назначения, ни даже названия конечного продукта – химию, уран, заразу бактериологическую, ракеты устарелого образца, самолеты времен прошлой войны, расходуя при этом сорок килограммов сырья на килограмм продукции, тогда как буржуи на ту же продукцию расходуют четыре килограмма? лес рубил – больше половины в отходы, скопал рудные горы, которых должно было хватить на 200–300 лет (Магнит-гора, к примеру), бездумно и безрезультатно сжег и разбазарил уголь, разлил, пропил моря нефти... И никто ни за что не отвечал, никто ни о чем не думал. Работали плохо, получали мало, жили одним днем, о «светлом будущем» анекдоты травили и над вождями, над их бреднями смеялись втихаря. При всеобщем образовании, в том числе и высшем, остались полуграмотной страной. Зато много спали, пили беспробудно, воровали безоглядно. И этому, в полусне пребывающему, ко всему, кроме выпивки, безразличному народу предложили строить демократическое государство, обрекая его думать и жить самостоятельно.

А зачем ему это? Нужно ли? – опять позабыли спросить!

Астафьев Виктор Петрович Родной голос astafevvictor.ru

Вот в 90-м или во время путча 91-го года и надо было давать отбой – не можем! Не созрели. Подождем еще! Потерпим! – сказать без ора, без боя, без шумных арестов, без стрельбы друг в дружку, без злобы, пусть и в раздражении поворачивать назад – ни к чему попу гармонь, была бы балалайка – и все бы шло-ехало помаленьку, дымили бы военные гиганты, шарились бы по чужим морям атомные подлодки, работала бы безотказно лагерная, так крепко отстроенная система, кривлялись бы на мавзолее старые, седовласые и лысые вожди, и пьяный народ, идя под знаменами, орал бы им «ура!», и, развалясь на скамейке, хвастался бы свободный от морали работяга: «Ни х... не делаю, а сто двадцать рэ получаю!»

«К чему стадам дары свободы, их только резать или стричь». (Александр Пушкин) Сто с лишним лет назад писано, а как сегодня. И мне вот не пишется, не работается, а пенсия идет и гонораришко какой-никакой тоже, на хлеб да еще и с маслом – и ладно. Может, больница, может, лекарства сказываются, но, скорее всего, мешают мысли о бесполезности своего и всякого дела, окаянный вопрос, задаваемый сотни лет не только мной самому себе: «Книжек-то вон сколько, а сделали они людей лучше?..»

Надежда только на Бога и на время – они помощники, избавители и лекари вечные...

На Вологодчине

В Вологде я живу уже больше года – срок достаточный, чтобы оглядеться, кое-что увидеть и даже немножко узнать. Мне довелось побывать в Кириллове, в Шексне, проехать по Сухоне и Двине до Великого Устюга и дважды побывать в Никольске и на Никольщине, посетить могилу прекрасного поэта и мужественного человека Александра Яшина, встретиться с интересными людьми и «открыть» для себя хотя бы краешек вологодской земли.

Обычно я ничего и ни о чем не пишу с ходу, мне нужно вжиться в образ, в природу, присмотреться к людям, дать отстояться первому впечатлению, ибо оно часто бывает поверхностно и, значит, приблизительно, а то и вовсе неверно.

Исконно же русская вологодская земля, люди ее мне сразу же показались близкими, прились по душе, и, странное дело, я даже написал два коротких рассказа на вологодском материале, изменив своему правилу. Один из этих рассказов недавно звучал в сокращенном виде по Всесоюзному радио.

Земля, Родина накладывают отпечаток и на людей, а следовательно, и на писателей, на их дело. Вологодские писатели и поэты – люди в большинстве своем по-хорошему простые, но не простоватые, открытые, и также их работа.

Книги, стихи очень душевны, многозвучны и по-настоящему народны. Сказав слово «народны», я не имею в виду, чтобы непременно упоминались в произведениях лапти, щи и курные бани.

Народность эта прежде всего в интонации произведений – в интонации, слитой с самим звучанием голоса родной земли, интонации неторопливой, распевной, как бы приглушенной тихой грустью. Это очень отлично, скажем, от броского, несколько даже яростного, громкого слова сибиряков, и от красок их, размашистых и тоже очень ярких.

«Тихая моя родина», – говорят о своей земле вологодские писатели, и в этой прекрасной строке много обозначено и сказано, хотя нынче не такая уж она тихая, Вологодчина-то.

О рабочем классе вологжане пишут мало, точнее, почти не пишут, и это тоже объяснимо. Большинство писателей-вологжан – выходцы из деревень, и пишут они о том, что знают хорошо, что вошло в плоть и кровь, писать же наскаками, пользуясь творческими командировками и мимоходными впечатлениями, – дело ненужное и неблагоприятное.

Ни одна книга, написанная литературными гастролерами, не сделалась, громко

Астафьев Виктор Петрович Родной голос astafevvictor.ru говоря, достоянием читателя. Думаю, что пишущий о рабочем классе должен выйти из самого этого класса, быть им воспитанным, и вот среди начинающих и молодых писателей уже есть попытки приблизиться к этой теме, робкие, правда, попытки, неуклюжие, но все же есть.

Правда, есть в работе молодых и начинающих одна огорчительная особенность. Я бывал на многих семинарах молодых, в том числе и на недавнем Вологодском, где разбирались интересные, перспективные авторы – это Широков из Вологды, Шарыпов из Череповца, Степанов из Вологды и другие. И вот странное совпадение, почти никто из них не работает над произведениями крупных форм – романами, повестями.

Правда, все мы, да и до нас тоже, имеющие опыт писатели, обычно подталкиваем молодых к тому, чтобы они начинали с малых форм, набили бы руку, подучились и тогда уж брались за более капитальное дело. Это не беда. Но беда состоит в том, что и в малых формах молодые писатели зачастую неоригинальны, вторичны, а то и десятиречны, и пишут о том, о чем уже написано много, и хорошо написано.

Создается впечатление, что им не о чем писать, и невольно вспоминается чеховский персонаж, провинциальный газетчик, который сетовал на отсутствие материала. «Вот если б турки штурмом Калугу взяли, тогда б было о чем писать...» – говорил он.

Между тем у наших молодых писателей жизнь, как правило, интересная была, насыщенная, только самим им она почему-то кажется не заслуживающей внимания. И опять же для пишущего нет, как говорится, предела, писать можно и нужно обо всем, только интересно и по-своему.

Когда-то молодой Бунин пожаловался Льву Толстому на то, что ему не о чем писать, и Толстой на это сказал, что вот, мол, и пишете о том, что не о чем писать, да и объясните, почему не о чем писать.

Больше внимания к окружающим людям, к повседневной жизни, любопытства больше, и молодые увидят, как нескончаемо волнуется вокруг них море жизни, и на этом море не всегда штиль, бывают и волнения, разбиваются корабли.

Одни только вопросы нравственного воспитания молодежи и самопознания, или, как Достоевский говорил, «себязнания», могут составить большую работу, которой хватит на целую жизнь не одного писателя, а целого поколения писателей, как это было в шестидесятых годах прошлого столетия.

Сам я последние годы работал над повестью «Пастух и пастушка» – это повесть о войне, о любви, о тоске и мечте человека по естественной жизни, без смертей и кровопролитий. Наряду с этим работал над короткими рассказами и составил из них книжку под коротким названием «Затеси», которую в семьдесят первом году собирается печатать издательство «Советский писатель», а издательство «Молодая гвардия» намеревается издать однотомник повестей, куда должна войти и «Пастушка».

Начал работать, а точнее, приступил к книге о войне, к которой шел давно и готовился долго, потому что сам я участник войны, солдат, и не мог выполнять эту работу скоропалительно, неумело.

Тема войны для меня – святая тема, и хочется, чтобы писалась трепетно, с болью и святым уважением к тем людям, с которыми я воевал и которых приходилось мне хоронить вдоль долгих дорог войны.

Издан ряд моих книг за рубежом. Только что я подписал договор с венгерским издательством «Эуропа» на издание повестей и рассказов на венгерском языке. Выходит в Болгарии повесть «Кража». До этого она вышла в Чехословакии и в ГДР. В Чехословакии, Польше, Венгрии и других странах печатались некоторые мои рассказы. В издательстве «Прогресс» выходит сборник рассказов на английском языке.

Вот и все, что я могу сказать о себе. Надвигается лето, время поездок, время встреч с людьми. Думаю побывать на Никольщине, в Салехарде, подумать, посмотреть – это нужно для будущей книги, работа над которой займет немало лет.

Этюд на Чусовой

Сколько помню художника Анатолия Николаевича Тумбасова, столь и неизменен его облик в памяти моей. Прежде всего запоминается тихая, добрая улыбка, вроде бы постоянно присутствующая на бледноватом лице от скрытого, тайного волнения и радости, изредка озаряющих лицо негустым и неярким румянцем, беловатые волосы, высветленные солнцем и ветром брови и небольшие светло-голубые, внимательные-превнимательные глаза, таящие в себе какую-то глубокую печаль и даже виноватость.

Как видите, портрет и облик художника, мне запомнившегося, так и просятся определить его в детстве и в юности в какое-нибудь городское предместье, в интеллигентную скромную семью, в примерную школу полугородского, окраинного толка, где много кружков по искусству, военной подготовке, где все чего-то лепят, мастерят и рисуют, бросают деревянные гранаты и колют самодельные чучела врагов, где обязательно присутствуют два-три лохматых учителя, одержимых идеями невиданных изобретений, открытий, путешествий, будоражащих юные души.

Но увы, родом-то Анатолий Тумбасов из шахтерского поселка с самым ему подходящим названием, над которым долго не надсаживались административные умы, – Пласт Челябинской области, в пятидесяти верстах от станции Нижне-Увельской.

«Поселок этот можно окинуть взглядом с любого шахтерского отвала. В поселке всего было несколько двухэтажных зданий на городской манер: больница, девятая и десятая школы, две-три конторы, а все остальное домишки с палисадниками и огородами», – напишет впоследствии о своей «малой родине» Тумбасов и с горьким выдохом добавит: «И вот тебе, почти четыре тысячи погибло». В числе погибших на войне был и отец художника, и друг, роднее кровного ему брата, мечтавший стать художником Иван Чистов, убитый десятого сентября 1943 года в Смоленской области, возле деревни Шуи.

Так вот она откуда, глубоко таимая и неистребимая печаль в глазах художника, – он-то вернулся с войны, а Ваня, отец и еще миллионы остались на веки вечные «там». Неизбывна война в сердцах тех, кто уцелел на войне, и груз ее тяжкий нести нам – фронтовикам – до конца дней наших.

Оба они: и Толя Тумбасов, и Ваня Чистов – страстно мечтали стать художниками, и мечта одного из них исполнилась, он рисует, пишет и работает «за двоих», как наказывал ему покойный друг.

Художники, как и многие творческие люди, много и серьезно работающие, не любят, чтоб им мешали, изобретают всевозможные запоры и замки, ограждая себя от любопытных, праздных «гостей», но сколь я знаю Тумбасова – а знаю я его уже более тридцати лет, двери его мастерской всегда открыты для людей, и всегда согрет для гостей крепкий чай, и редкого по сердцу ему пришедшего гостя он отпустит без подарка – этюд с реки Камы, подаренный мне еще в пятидесятых годах, объехал со мною не один уже город, сменил не одну квартиру. И при всем при этом Тумбасов не только много и плодотворно работает, он много ездит, у многих людей бывает. Урал облазил и изрисовал, кажется, от крайнего севера до родного юга. Но в общении с людьми он любит больше слушать, чем говорить, однако его «молчаливое общение» так активно, такое в лице его внимание и любовь, что и не замечаешь его неучастия в разговорах и спорах.

Но мне доводилось, и не раз, слушать и его рассказы, не о себе, нет, не о своих работах, а о том, где он был, чего видел, с кем встречался открывалась душа глубокая, глаз не просто приметливый, но и остропамятливый, и еще юмор, тихий юмор, всегда присутствующий в его рассказах, и самоирония, а это уже верный признак души, богато одаренной природой и озаренной светом добра.

Тумбасов не только много всегда работал как художник, но и выставлялся немало, и похваливали его, и даже куда-то выбирали, в какое-то руководство, но это никак не отражалось на его характере и поведении. Всегда скромно живший и живущий материально, он никогда никому из «богато» и «широко» живущих художников не завидовал, на нужду не жаловался, не горланил на собраниях, и о нем в Перми одно время уж начали поговаривать: «Себе на уме мужичок», в особенности после того,

Астафьев Виктор Петрович Родной голос astafevvictor.ru как Тумбасов начал «пописывать» и изредка издавать очень милые и добрые книжки для детей со своими рисунками, содержание которых чаще всего составляли записи путешествий по Уралу или словесные этюды с рисунками о природе, о цветах и деревьях, исторических местах. И тут нашлись злые языки: «Деньгу зашибает Тумбасов! В писатели рвется!» Но книжки его были так непритязательны и обезоруживающе-доверительны, объем их столь невелик, что в конце концов унялись всякие наветы и к Тумбасову привыкли к такому, какой он есть: никого он локтями не отталкивал и не отталкивает, ни у кого кусок хлеба не рвал и не рвет. А вот когда я, переехав в Вологду, написал, что не худо бы ему посмотреть эту землю, не похожую ни на Урал, ни на Сибирь, но такую пространственно-российскую, историческую, привлекательную, то он тут же занял у кого-то полста рублей и прикатил ко мне, побывал на выставках, в музеях, в лесу, в деревнях, и так был счастлив тем, что вот ему показали прекрасный древний «клочок» России, что даже и постоянная печаль в его глазах приутихла.

Повторяю – не припомню, когда бы мой сверстник по годам и склонностям говорил о себе, хвалился собою, своей работой и успехами; вот о друзьях-товарищах – пожалуйста! О них он всегда готов поведать хоть изустно, хоть письменно.

В Челябинске, на родине Тумбасова, вышел литературно-краеведческий сборник под броским и красивым названием «Рифей» – такое, оказывается, наименование Урала дошло до наших дней из Эллады, от греков, и под этим именем вошел Урал в древнюю мифологию.

В числе шестнадцати авторов «Рифея» присутствует и Анатолий Тумбасов и снова пишет не о себе, снова не претендует на высоты литературного стиля, и, быть может, именно поэтому строки его порой столь проникновенны и зримы, что за сердце хватают.

Друг его, Ваня Чистов, был сиротой, и его на воспитание к себе взяла одинокая бабушка Яковлевна, которая в японскую еще войну была сестрой милосердия и которую два отрока, возмечтавшие быть художниками, все донимали расспросами о великом русском художнике Верещагине, который, казалось им, должен был быть на самом заметном виду, поскольку знаменит. Но бабушка Яковлевна отмахивалась от них: «Война шла, где там заметишь».

Так вот, отличник учебы, неизменный староста класса, горевший на общественной работе и самоуком постигавший секреты творчества, беспрестанно рисовавший, лепивший, изучавший в библиотеке, в доступных книгах и по открыткам искусство, мечтавший хоть бы раз побывать в настоящей картинной галерее и увидеть картины Репина, Шишкина, Левитана, но так ничего этого и не увидевший, Иван Чистов раньше своего преданного друга уходил на фронт, а тот много-много лет спустя до осязаемости, предметно вспомнит, как провожал Ваню, который преобразился на глазах, возмужал, но как попал в компанию новобранцев, как зажали его в кузове автомашины, так бравый призывник все искал глазами защитницу – бабушку Яковлевну, а она, «бабушка, стояла в стороне, у изгороди, и плакала, ничего не видя. Я пробрался к другу, потянул его за рукав... Мы молча и крепко пожали друг другу руки. Машина было тронулась, но мотор заглох. Все женщины опять нахлынули и притиснули меня к борту. Я опять оказался около Вани, а он, высвобождая руку, высыпал мне горсть сахара, выданного в военкомате. „Бери!“ – сказал второпях, как мотор снова завели, машина тронулась, и ревушая, пестрая толпа, только что прильнувшая к кузову, стала отставать. Но многие еще бежали следом, кричали, махали платками, и потом долго стояли на дороге, растерянные, одинокие, оставленные...»

Никого не повторил в этой сцене прощания не претендующий на звание литератора Анатолий Тумбасов, хотя сцен прощания написано, снято в кино и нарисовано не сотни, а тысячи, однако нигде и ни у кого я не встречал наповал разящего слова «оставленные». Это уж что-то от «тютчевской неправильности», это уж из того, что близко лежит, да брать далеко.

«Так мы расстались с Ваней. Писали друг другу письма, жили надеждами, ожиданиями, жили все с той же мечтой: рисовать, рисовать...»

Скоро на фронт отправился и Тумбасов, но переписка друзей не прекратилась, и с родины приходили письма. «Я уже наизусть знаю начало и конец маминых писем», – простодушно признается другу Анатолий. А тот в ответ: «Друг мой, я очень соскучился и не могу забыть ни на минуту родные места и те счастливые дни, когда

Астафьев Виктор Петрович Родной голос astafevvictor.ru
мы рисовали. Пока есть возможность рисуй, рисуй день и ночь. А какие замечательные здесь места, так и вырвался бы порисовать, но нельзя. Надо овладевать противотанковым ружьем». И еще, и еще: «Больше рисуй. Жду бандероль с бумагой»; «Спасибо тебе, что выслал бумагу. Спасибо, что догадался положить портрет Крамского. Хоть один портрет художника будет у меня»; «Еще вспомнил: у меня есть кнопки, возьми их себе и мне немного вышли. Если бабушка будет посылать мне посылку, вышли Илью Репина – открытку, я хоть буду смотреть на нее и думать, как он работал»; «Я, Толя, когда иду в строю, то все смотрю по сторонам и в результате – запнешься и станешь другому на ногу – за это попадет»; «Помнишь: тихая ночь, снежинки, а мы говорили об искусстве, о будущем... Мне кажется, что после войны будет другая жизнь...»

Я не случайно и не зря так много цитирую из горького и бесхитростного рассказа Анатолия Тумбасова о своем незабвенном друге, мечта которого оборвалась на взлете и могилу которого так и не смогли найти ни юные следопыты, ни друг его верный – на месте тяжелых боев под Шуей шумят хлебными колосьями колхозные поля.

Чуть позже, в голодные послевоенные годы, с Золотого таежного рудника, что затерян в дебрях Сибири, пробирався на попутных «в центр» другой подросток, мечтавший стать художником. С тяготами, муками, лишениями и со счастьем в сердце он поступил и окончил краевое художественное училище, затем был принят в Ленинградскую академию художеств и зодчества, откуда вернулся в родные края скульптором, живописцем, виртуозно владеющим рисунком, как владели им в старые времена русские художники, неистовые и требовательные к себе и к своей работе великие мастера. Рисунок и рисование для них были то же самое, что каждодневные изнурительные упражнения для балерин.

О Ленинграде, об академии, о том, как добывался хлеб насущный на пропитание, этот человек, мой земляк, ныне известный скульптор, может рассказывать часами, да все с юмором, и лишь когда дело доходит до имен преподавателей, становится он предельно серьезным, на глаза его наплывает пленка благодарных, сыновних слез.

Год или полтора назад его преподаватель по классу живописи, старый и ныне всемирно признанный мастер, пользуясь тем, что в Ленинграде было какое-то широкое мероприятие и съехались многие художники, в том числе и «послевоенные», его самые любимые и трудолюбивые ученики, решил провести вместе с ними урок, поделиться своим накопленным мастерством, а главное пообщаться, помочь живописцам, графикам и скульпторам окупиться в современную творческую атмосферу.

Прекрасные классы, мастерские, новомодные мольберты и станки, краски и кисти, материал для лепки любой, натурщиц два десятка, да одна другой пластичнее и краше, а в те послевоенные годы все не хватало природы и средств на природу. Сам мастер пришел подтянутый, помолодевший, в торжественном одеянии и настроении, но в класс-то, на урок его, человека престарелого, до крайности занятого, явилось всего одиннадцать душ, и все, как на подбор, те, «послевоенные», его ученики, среди которых много уже общепризнанных, сединами украшенных мастеров. Нынешние же его ученики, жаждущие немедленной славы, удовольствий, роскошно одетые, перекормленные не только сладкой едой, но и искусством, сплошные «новаторы», предпочли общению с «бесконечно отсталым хламьем» торжественный банкет во славу искусства.

А мы еще сетуем: отчего так порой невыразительны, тусклы, однообразны многоместные выставки в Манеже и других выставочных залах, почему так долго не появляются новые Корины, Пластовы, Дейнеки, Мыльниковы, Моисеенки, Савицкие? Они на пустом месте не появляются и при таком «отборе» и отношении к делу скоро и не появятся, ибо работать нынешним «мастерам» неохота, а прославиться, и как можно скорее, они стремятся изо всех сил, и тут не столь работа, сколь папино или дядино имя пускается в ход и не жалеется сил на приобщение к искусству с заднего хода...

Горько, очень горько это знать, и еще горше стало на сердце, когда я прочел очерк Анатолия Тумбасова о погибшем друге, так жадно, непобедимо, с открытым сердцем и чистыми помыслами стремившемся в искусство.

И снова, и снова глаза мои отыскивают и пробегают по строкам последнего с фронта письма к другу Ивана Чистова: «Рисуй больше, не жалея сил, ни времени, рисуй за двоих. До свидания. Спешу заклеить письма тебе и бабушке картошкой из супа».

Астафьев Виктор Петрович Родной голос astafevvictor.ru

Много лет назад на берегу самой в Европе красивой, прославленной уральскими писателями и живописцами реки Чусовой художник Тумбасов нашел одинокую могилу партизана или красноармейца, погибшего в гражданскую войну. Он возмечтал нарисовать картину с этой могилы и много раз бывал на том скорбном месте, сделал множество этюдов, начинал картину и так и этак, и все она у него не получается и, наверное, никогда не получится, потому что могилу своего самого любимого друга он не нашел, и мучает его та могила, как мучают все наше поколение не найденные нами и неоткрытые могилы, не закопанные нами впопыхах наступления окопные друзья, а вот очерк-воспоминание получился. Пронзительно горький и простой документ героического времени, может, и картина о потерянном друге, о погибшей его мечте, о безвестной солдатской могиле, затерянной в просторах любимой Родины, когда-нибудь получится.

Вечно живые облака

К постановке оперы Верди «Бал-маскарад» в Красноярском оперном театре

1942 год. Надвигается осень. Полыхает битва под Сталинградом, немцы рвутся на Кавказ и уже добрались до вершин Эльбруса, Россия, развеяв фашистский миф о блицкриге, пережив катастрофу на границе, под Смоленском и Вязьмой, заткнув живым мясом ополченцев «дыру» на Москву и отбросив силами сибирских дивизий противника аж за Оку, втянулась в войну, начала уже привыкать к ее сверхтяжким, кровавым и немилосердным будням.

Я, молодой еще парнишка, после окончания железнодорожной школы ФЗО работаю на станции Базаиха составителем поездов. Работа опасная и тяжелая, полагаются по трудовому и человеческому закону сутки отдыха после двенадцатичасовой смены, но почти ни разу не дали мне отдыхать сутки, на станции все время находится дополнительная работа, а людей не хватает. Еще прошлой осенью, когда враг был под Москвой, начали с фронта возвращать железнодорожников – услужливые военкомы впопыхах оголили транспорт. Но все равно транспорту тяжело, одышливо, не хватает не только людей, но и паровозов, вагонов, запасных путей. Со всяких железнодорожных свалок, с фронта притащены хромые, полуразбитые вагоны и платформы, винтовые сцепки ржавые, воздушные рукава рваные, сцепляешь – гляди в оба, чтобы руки не оторвало. Работаю всего три месяца, и мне уже не раз отсекало рукавицы фаркопами, и под двигающимися вагонами полежал. Но жаловаться некому. Роптать не на кого. Близко, рядом восстанавливается и скоро начнет работать Брянский паровозостроительный завод, от станции Базаиха проложена ветка на предприятие, которое в скором времени начнет выпускать порох, фронту позарез необходимый, и мне еще доведется на фронте увидеть артиллерийские гильзы, заполненные красноярским порохом, похожим на столовские рожки из сдобного теста.

В городе людно, непролазно, в частные дома распределяют жить эвакуированных, на базаре цены растут еще быстрее, чем в нынешних магазинах, надвигающаяся зима страшит морозом и голодом – ведь уже в прошлую зиму собирали по улицам трупы полураздетых, голодных людей, в дороге все с себя на еду променявших и получивших такую спецовку, которая совсем не для сибирских мест и зим.

Вроде бы беспробудно, глухо и беспродышно не только на фронте, но и в глубоком тылу, однако жизнь идет, работают школы, кинотеатры, некоторые вузы, ремесленные училища, музкомедия. И вот на-ко, в Красноярске, на сцене драматического театра имени Пушкина открывается оперный сезон, о чем извещают скромные, пусть и немногочисленные, но настоящие афиши.

Сезон открывают эвакуированные или сбежавшие с Украины театры, из Киева, Днепропетровска и Одессы. И открывают они его оперой Верди «Бал-маскарад».

Невиданное, неслышанное в Сибири искусство – опера – любопытно очень, посмотреть охота – никогда не видел, только по радио слышал да от директора детдома, бывшего белогвардейского офицера, кончившего когда-то царский лицей и даже в театре каком-то игравшего или певшего. Он был высоко, слишком высоко образован для того времени, знал язык и о музыке, и об опере знал, и вообще был «не наш»,

Астафьев Виктор Петрович Родной голос astafevvictor.ru и потому мыкался в заполярной ссылке и нам, обездоленным детям, открывал другой, какой-то чудесный мир, рассказывал о русской поэзии и о театре. Совсем немножечко, совсем маленько я был подготовлен к тому, что мне предстояло услышать. Помню некоторое отличие публики, пришедшей на оперу, от той, что я видел в театре музкомедии, на сцене которого выступали заезжие фокусники, певцы и певички, лилипуты и прочие гастролеры, которых вдруг обнаружилось множество.

На опере публика была сдержанна, солидна, поэтому времени нарядно одета, чуть торжественна. Одна дама, помнится, даже обмахивалась красивым веером. Но много было людей в военной и всякой другой форме, так что я в своей новой железнодорожной черной гимнастерке со свежим, белым подворотничком выглядел почти кавалером. В театре продавались какие-то диковинно длинные, на свисток похожие, конфеты, завернутые в бумажки, напоминающие луковую шелуху, какой-то почти бесцветный напиток и мороженое. Я был, очевидно, с получки и встал в длинную очередь. Но мороженого мне не досталось. Морс – напиток раскупали бидонами, а мороженое целыми сетками на кисель.

Чуть-чуть помню, как в зале сделалось тихо и темно, зазвучала музыка, открылся занавес – и я увидел плывущие по небу облака. Живые облака в театре, на сцене! Ну не чудо ли?!

От музыки Верди и от оперного действия веяло мрачностью – это я тоже помню, пусть и очень отдаленно, и все, особенно сцена на кладбище, над которым опять по небу плыли живые облака, совпадало с настроением и действительностью, царившей за стенами театра, о которой не забывалось даже тут, в тесно заполненном уютном зале.

Не помню уж, как пели артисты, а было их на каждую роль по четыре, по пять человек – нужно за что-то получать хлебные карточки и деньги на хлеб.

Наверное, пели прекрасно. Украинцы ж, да еще из таких прославленных театров! В Красноярске, я думаю, десяток-другой человек сохранились еще с тех пор, кто слушал эвакуированную оперу на сцене Красноярского театра имени Пушкина, может, и более толковых, чем я в ту пору, может, и программки сохранились...

Вот бы они повспоминали да посмотрели сегодняшний театр, сегодняшний спектакль «Бал-маскарад» и поделились бы своими впечатлениями.

Опера «Бал-маскарад» ставится редко и мало где, но я потом еще, едва ли не в Пермском или Свердловском театре, в другом ли каком слушал ее и всегда с умилением вспоминал: «А вот во время войны, в Красноярске...»

И дожил я до того светлого дня, когда здесь же, в Красноярске, но уже на сцене собственного оперного театра, в мирные годы, в зимний снежный вечер собрался слушать «Бал-маскарад» в постановке приезжего, столичного режиссера, известного, правда, только по драматическим постановкам, в том числе по спектаклю «Павел Первый» на сцене театра Советской Армии, где главную роль неподобно играл великий русский актер Олег Борисов. После него уже никто так убедительно Павла сыграть не смог. И спектакль остановился, умер вместе с артистом.

Каков же Хейфец Леонид Ефимович в опере? Как-то он «оживит» Верди, у которого, кроме «Риголетто», все оперы малоподвижны, тяжеловаты и мрачны? И как-то высветлится, отзовется моя давняя память об оперном диве и воскреснет ли в сердце ощущение чуда соприкосновения с прекрасным искусством?

Не без тревоги, не без любопытства, не без трепета ждал я открытия занавеса.

И вот зазвучала музыка, без привычной оперной увертюры началось вступление – гуляние на набережной или в парке. Пестрота костюмов, нарядные декорации, много всего красочного, веселого, а веселее и милее всех паж, но и паж, и вся толпа, и веселость – «оперная», натужная. Да, тут уж ничего не поделаешь – таковы законы сцены вообще, а оперной в частности. К условностям сцены нас уже приучили, надо и с условностью оперной «действительности» свыкнуться, терпеть ее, где и «не заметить», тогда и получишь от этого великого искусства истинное наслаждение.

Нет, почти ничего не совпало с теми давними, юношескими ощущениями от спектакля, да и не за тем я шел, чтобы сравнивать несравнимое.

Астафьев Виктор Петрович Родной голос astafevvictor.ru

Сложная, долгая жизнь прошла между двумя «Бал-маскарадами». Я видел и слушал почти все, что ставилось из опер Верди на сцене, в том числе и в Вене «Дона Карлоса». В роскошной Вена-опере наш замечательный, тогда еще молодой Евгений Нестеренко пел заглавную партию вместе с целым выводком мировых знаменитостей, и не только «запел» их, но и «расходил», оживил тоже малоподвижную оперу и придал ей динамичности. Что же краснорыццы? Как они справились с этой старой оперой? Сдвинули ли ее с места? Обновили ль? Музыкальное произведение и особенно музыка Верди – они, как любовь человеческая, – вечны, но каждое сердце обновляет их по-своему. Есть один совершенно всем известный, но непостижимый секрет музыки – она ближе всех искусств к небу и к Богу. Слушая сонату резвого, от радости захлебывающегося Моцарта или «Времена года» Чайковского, пространственнопечального ли, будто поздняя российская осень, Рахманинова, квинтеты Вивальди, «этого рыжего бестии», как звали его современники, шляющегося по древним улицам в нетрезвом виде, иль наполненную болью и мольбой неоконченную симфонию Шуберта, мать, родившая недавно ребенка, и мать, недавно потерявшая ребенка, будут слышать и воспринимать их каждая совершенно по-разному.

Так и я, имеющий местную «биографию» оперы «Бал-маскарад», конечно же, воспринимал ее по-своему, хотя и слушал ее вместе с публикой, до отказа заполнившей зал на премьере, я и не могу быть объективным в рассуждениях о постановке. Специалисты пусть порассуждают об этом, в том числе и музыковеды, я заранее знаю, что они будут настроены скептически к спектаклю оттого, что поставил его «не наш» человек, да еще из столицы, да еще из драмы. Для меня же Верди, его оперы, в особенности «Реквием», – выше и дальше меня, это уже часть меня, состояние моей души, а может, и состав крови, и мое состояние не должно и не может совпадать с мнением остальной публики о состоявшейся премьере, в том числе и с оценками специалистов-музыковедов. Вот я слышу почти в каждой картине двигающейся к развязке трагедии раскаты «Реквиема», на мой взгляд, одного из величайших творений человеческих в музыке. Но еще не истерзали композитора мнимые и грядущие земные драмы, в «Бал-маскараде» он еще нерешителен и робок в прикосновении к вечному вопросу, терзающему человека, – что такое жизнь и смерть, однако уже весь он в предчувствиях мук, страданий, от страстей человеческих, предугадывания бед содрогается и рвется на части его нежное и могучее сердце.

Верди неиссякаем. В его операх почти нет речитативов или затянувшихся музыкальных пауз, преодолевая которые устаешь порой ждать «ударных» арий и двух-трех дуэтов в операх других, особенно современных, композиторов. У него от начала до конца, хотя бы в том же «Бал-маскараде», поют, не повторяя мелодии, не затягивают паузы. Его оперы – это непрерывно, звонко, чаще бурно текущий ручей. Думаю, что слушать Верди можно и с закрытыми глазами, но каково-то его петь? Я не говорю о трудностях пения в опере вообще, легче плясать в какой-нибудь бандгруппе – там и голос, и слух не обязательны, были бы волосы подлинней да нечесанней. Я говорю о радостях и муках соприкосновения с великим искусством.

Мне думается, поставив Верди, да еще так редко исполнявшуюся оперу, краснорыццы преодолели какой-то довольно трудный и важный этап в своей жизни и работе. Поклонимся им за это и пожелаем новых преодолений в служении красоте и добру, в воспитании истинного вкуса у людей, в первую очередь у молодежи, которая, кажется, не вся еще отравлена и затравлена современной массовой культурой.

А облаков живых я так и не увидел в нынешнем «Бал-маскараде», лишь в сцене на кладбище, на мой взгляд, наиболее убедительно и хорошо поставленной, слегка поклубился туман, да и тот скоро иссякнул. Но для меня до конца дней моих останутся вечно живые облака великого искусства, которые я давным-давно, кажется, в другой уже жизни, увидел однажды на сцене театра и до сих пор не перестаю удивляться им и восхищаться ими.

Строителям БАМа

Обращение к строителям, помещенное в трехтомном издании современной литературы (Хабаровск, библиотека «Мужество», 1977)

Так случилось, что в жизни своей мне довелось больше разрушать, чем строить, – я и воевал в гаубичной бригаде разрушения! Бывал на лесозаготовках, на сплаве, на

Астафьев Виктор Петрович Родной голос astafevvictor.ru
разных работах, но все как-то вдаль, или, точнее, в стороне от строителей...

Но с детства любил смотреть, как пилят тес, как возводят стены, как «из ничего» возникает чудо, сотворенное человеческими руками, – дом!

Мне немало лет, я уже много видел на этом свете, синхрофазотрон и синхроциклотрон видел, даже аппараты по расчленению клетки, даже нанесенные на одну пластинку в ладонь величиной кибернетическим способом телевизор и радиоприемник, а в детстве, как говорится, тележного скрипу боялся. Но запах свежих стружек, мягкость опилок под голыми ногами, гладь оконных подушек, переплеты рам и пустота бровников, в которых, когда их забьют мохом, непременно поселятся воробьи, то есть обыкновенный дом для меня будет вечным и неизменным чудом!

После войны мне и самому довелось «возводить дом» из старых бревен, досок, ржавого железа и битых кирпичей, собирать халупу, ибо с жильем было туго и нам с женою, вернувшимся с войны, попросту негде было жить.

Я рано ушел на войну, жена и того раньше, мы мало чего умели, но, уцелев на войне, жили жадно, радуясь прежде всего самой возможности, счастьем жить, которого так многие лишились. «Свой дом» я строил после работы и колотил молотком чаще по «плотнику», то есть по руке, чем по гвоздю, после чего следовали громкие высказывания, от которых даже вороны отлетали вверх, и теща моя, человек тихий, добрый, вырастившая девятых детей и всего, как говорится, изведавшая, когда ее спросили, что-де за мужичонка на пустыре строится, больно, мол, уж «боевые» у него выражения... постеснялась признаться, что это ее милый зять, и тихо удалилась.

Ну а потом халупа моя сделалась жильем, похожая обликом на меня – это уж непременно! – лишь современные «коробки» похожи друг на дружку, но дома, строенные своими руками, всегда были похожи на «созидателя». Помню по сей час ясно, отраднo, как в жилье затопили первый раз русскую печку и оно стало наполняться живительным теплом, уютно сразу сделалось, хорошо, покойно...

Давно я не живу в этом городке. Давно хозяйствует в моей избушке другой человек, но ни о чем так сладко не печалится мое сердце, как о домике, построенном своими руками, и, когда я бываю на Урале, непременно уж пройду мимо «своего домика», подивлюсь, как выросли посаженные мною деревья, порадуюсь тому, что в домике, совершенно уже перестроенном, на «мой» почти непохожем, живет обиходный, заботливый хозяин, говорят, знатный сталевар.

Все это я к чему говорю-то? А к тому, что строить, созидать есть большое счастье. Я знаю, что всякое строительство начинается с копания земли, часто обыкновенной лопатой. Мне и моим друзьям по войне много довелось копать земли на фронте, если сложить все нами выкопанные окопы, блиндажи, противотанковые рвы и щели, наверное, получится дырка сквозь земной шар. Но никакой радости не доставляла та работа, мы ее прямо-таки ненавидели, да делали, потому что она была необходимой.

Совсем другое дело – мирная работа, мирное строительство, мирная жизнь! Я далек от мысли, что в тайге трудиться лучше некуда и что труд сплошной праздник (у нас так долго твердили об этом, что иные молодые люди идут на работу как на праздник, а потом у них настроение портится: шли гулять, веселиться, а тут вкалывай до ломоты в костях!). Но все же, строя дорогу, прорубая трассы, возводя поселки, города и станции, вы, сегодняшние строители, оставляете на земле «свой дом», и в нем начнется жизнь, будут рождаться и расти дети, и по железной дороге пойдут поезда, и кто-то куда-то поедет в даль, всегда заманчивую, и, глядя вслед тем поездам, вздохнет бывший строитель и скажет про себя: «Счастливого пути, люди!»

Не знаю, как у кого, а у меня прощальный гудок парохода и уходящий поезд всегда вызывали и вызывают сосущую тоску и зависть к тем, кто куда-то едет. В сорок втором году я работал близ Красноярска на станции Базаиха составителем поездов, так мне за каждым составом, мелькнувшим на хвостовом вагоне красными огнями, бежать хотелось. С годами это чувство поослабло, притупилось, года и напряженная работа поугасили мечтательность, но все еще, как увижу уходящий состав, сжимается сердце, рванется вослед ему вечно беспокойная человеческая душа...

Астафьев Виктор Петрович Родной голос astafevvictor.ru

Да что же делать? Года, года... Молодость – прекрасная пора, но проходящая. Быстро, к сожалению. Наша молодость осталась на войне в окопах, в бредовых палатках санбатов и эвакогоспиталей. Нам остается лишь по-хорошему завидовать тем, кто так свободно и, надеюсь, разумно может распоряжаться собою, своей молодостью и устройством своей, а стало быть, и нашей жизни, ибо все мы живем в одном обществе и цели у нас едины.

Я долго думал, что же послать в сборник, назначенный для строителей БАМа, и порешил самую мне «родную» вещь, полагая, что у каждого бамовца где-то осталась своя маленькая родина, отчий угол, клочок земли, который его вырастил, с которого и начинается человек.

Кланяюсь вам, дорогие люди, из далекого старинного российского города Вологды, желаю мирного труда, вечной возможности не разрушать, а строить и еще любить то, что всех нас объединяет, то, без чего мы не можем жить, нашу природу, прекрасную, многотерпеливую мать-землю.

Выбрал бы ту же самую...

Интервью на 13-й странице «Недели»

– Занятно у нас получается, Виктор Петрович: начал я интервью в Вологде, закончил его в Москве, а чтобы получить Вашу визу – согласие на публикацию этих строк, звонил в Красноярск, предварительно выслав рукопись беседы в Овсянку – Ваше родное село. Можно ли объяснить такую тягу к перемене мест?

– В 1945 году, после госпиталя, будучи в нестроевой части, женился на женщине родом из города Чусового Пермской области. Так «очусовел» на 18 лет. В этом по-настоящему рабочем городе прошла молодость, выросли дети, начал писать. Сюда вернулся после учебы на Высших литературных курсах. Вскоре переехал в Пермь, от города этого, огромного, очень цивилизованного, как-то быстро устал.

Выбрал тихую Вологду еще и потому, что учился вместе с вологжанами: Сергеем Викуловым, ныне редактором журнала «Наш современник», Александром Романовым, бывшим секретарем Вологодского отделения Союза писателей России, Василием Беловым, Ольгой Фокиной, Николаем Рубцовым, увы, уже покойным...

Мне повезло. В Вологде, где я прожил более десяти лет, серьезно и уважительно относятся к настоящей литературе. Доверие, деликатность, внимание и заботу проявляют здесь о писателях не на словах, а на деле, заботу, а не мелочную опеку. И терпимость. Думаю, благодаря этому небольшая Вологодская писательская организация – одна из сильнейших и уважаемых в России. Сохранено светлое имя поэта Николая Рубцова, широко, по-народному празднуют дни поэзии Александра Яшина, Сергея Орлова – также знаменитых вологжан. Тщательно, с любовью и пристрастием изучается и издается литературное наследие северян, довольно разнообразное, кстати, и богатое, знаю, сколько сил, настойчивости и терпения надо было проявить вологжанам, в частности очень хорошему человеку и поэту Александру Романову, чтобы издать сборник стихов замечательного русского поэта – северянина Николая Клюева, кем-то и зачем-то вычеркнутого из русской литературы.

Все три десятилетия, что я прожил на Урале и на Вологодчине, меня тянуло в родные сибирские места. Вернувшись, обрел какое-то успокоение, как будто прибыл домой из длительной командировки, – это ощущение счастливое.

Я очень сильно эксплуатировал свою память, писал о Сибири, а жил вдалеке от нее. Записей не веду, дневников не имею, и все по памяти, вплоть до поговорок и пословиц, даже интонации, которая везде своя. Когда задумал большой роман о войне – серьезная работа, рассчитанная не на год, то посчитал, что надо находиться в той языковой стихии, от которой буду отталкиваться, среди тех людей, о ком намерен говорить. И потом, хотя я не пишу с ходу, с налету о местах, где живу, но надеюсь, что Сибирь подарит мне новые, неожиданные темы – пути литературные неисповедимы.

– Какие в Вашей жизни произошли события, дававшие повод для выбора писательской профессии?

– Нет, это не был какой-нибудь «звездный час», а жесточайшая закономерность. Все-таки склоняюсь к мысли, что литератором, как и музыкантом, рождаются.

Писать я начал поздно, в 28 лет. Но способность к сочинительству обнаружилась чрезвычайно рано, в четыре-пять лет. За этот «талант» бабушка Катерина Петровна авала меня хлопушей, что по-сибирски означает «вруша». Признаюсь: всякий раз происходил настоящий спектакль, когда я с упоением врал, вернувшись из леса или с пашни. Аплодисментов, конечно, не было, но случалось – за вранье просто-напросто пороли. (Смеется.)

Не было бы войны, уверен, на дюжину лет раньше качал бы писать. И стал бы совершенно иным литератором. По своей сути я ведь романтик, люблю глазеть на природу, собирать цветы, камешки, читать о любви. Но война заставила меня, как и многих моих сверстников, видеть, собирать и запоминать совсем иные штуки.

Но если бы мне было дано повторить жизнь, я выбрал бы ту же самую, очень насыщенную событиями, радостями, победами, восторгами, поражениями и горестями утрат, которые помогают обостренней видеть мир и чувствовать доброту, только исключил бы из этой жизни войну и оставил бы себе маму.

– Если бы Вы не стали писателем, то кем хотели бы быть?

– Крестьянином. Пахал бы, сеял, как дед. Крестьянская жизнь дает чувство совершенно особой радости, ни с чем не сравнимого удовольствия и удовлетворения своим трудом. А писательство – работа все же редкая, далекая от обыденных людских профессий, оваянная неким таинственным ореолом.

– На мой взгляд, большинству пишущих труднее всего даются заголовки и первые абзацы. Как Вы одолеваете эти «орешки»?

– Названия находятся по-разному. Иногда сразу – как «Царь-рыба», когда еще не было самой книги. Измучился, прежде чем придумал «Последний поклон». А вот «Пастуха и пастушку» в ряде журналов и издательств советовали заменить, мол, будет восприниматься как «сельскохозяйственное» произведение. Но у нас возле литературы «мудрецов», больше и лучше самого писателя знающих, чего он хочет и что должен писать, нисколько не меньше, чем в нашем сельском хозяйстве, где все еще за председателя колхоза и за работника полей порой пытаются решать, чего и когда им сеять и как пахать.

До сих пор мне нравится давний рассказ «На далекой северной вершине». Сам сходил на уральские альпийские луга, где его и «добыл», а вот заголовок никак меня не устраивает, и ничего лучше найти не могу.

Как начинаю? Чтобы «стартовать», мне необходим звуковой толчок. Люблю начинать с буквы «И». Помните, Первый концерт для фортепьяно с оркестром Чайковского? Как будто вокруг звучала незаписанная музыка, а композитор уловил продолжение какой-то фразы. Так и в прозе. Важен первый такт. И звучит хорошо, если сделать это ненавязчиво. Я вытягиваю начало из внутреннего созвучия, распева, «И брела она по дикому полю, непаханому, нехоженому, косы не знавшему». А «Кражу» надо было начать резко: «Ночью умер Гошка Воробьев».

У хорошей музыки, повторяю, можно научиться мастерству построения фразы, сюжета, организации словесно-звукового материала. В этом смысле мне много дал Концерт для фортепьяно с оркестром Грига. Я все время считаю то, что Бунин определял «звучком», то есть тональность сочинения, фундаментом произведения.

Если долго держишь вещь в работе и она не находит своей тональности, написанное начинает глохнуть, затихать и может вообще умолкнуть. Снова возбудить в себе мелодию, навеянную внутренней потребностью и самой жизнью, чрезвычайно трудно. Если возбудить другую – попадешь в совершенно другую тональность. Возникает несовпадение. Приходится мучительно преодолевать перекосы.

– Какое время года Вам больше всего нравится в творческом смысле?

Астафьев Виктор Петрович Родной голос astafevvictor.ru

– Осень. Точнее, октябрь и ноябрь – когда выпадет снег и никуда не можешь выйти. Даже с ружьем. Сидишь и пишешь. Больше ничего не остается делать.

– А чем Вы пишете?

– Простой ручкой. Макаю в чернильницу. На мой взгляд, творчество «рождается», когда касаешься бумаги. Все остальное – дело техники.

Раньше пользовался деревянными ученическими ручками, сгрызал иногда за день до половины. Однажды сынишку попросили в школе рассказать, как папа работает. Он чистосердечно ответил: «Да он все ручки грызет». Увы, сейчас деревянную ручку или простой карандаш приобрести не так-то просто. Купил себе дорогую ручку – «паркер». Только вот будет ли толк от этой дорогой ручки?

– Жизнь каждого из нас, тем более писателя, богата встречами с интересными людьми. Какие из них больше всего запомнились Вам?

– Я много встречал хороших людей. Больше, чем плохих. Удивительно запоминающейся оказалась встреча и знакомство со старшей киноактрисой, заслуженной артисткой РСФСР Еленой Алексеевной Тяпкиной. Ее последние роли: тетушка Ахросимова в «Войне и мире», княгиня Мягкая в «Анне Карениной», а в тридцатые годы она снималась довольно много, играла трактористок, а начинала еще в немом кино.

Когда я написал «Перевал», ее муж, ныне покойный, заслуженный артист РСФСР, режиссер Театра имени Революции Михаил Ефимович Лившин хотел поставить эту повесть на сцене. Естественно, они пригласили меня в гости. Шел к Чистым прудам и думал: Господи, как я буду себя там чувствовать? И галстук поправлял, и себя ошипывал, и причесывался, наверное, раз пять только на лестнице. Так разволновался, что я хотел возвращаться. Но потом сказал себе: солдат я или не солдат?

Позвонил. Открывают дверь. И я невольно сказал: «Вот Вы какая!» первая актриса, которую вижу в домашней обстановке. Оказывается, Елена Алексеевна всегда снималась без грима. Меня просто потрясло: артистка – и на себя похожа!

И она, в свою очередь, говорит: «Вот Вы какой!» Так естественно произнесла она эти слова, что уж, переступив порог, чувствовал я себя как дома. Когда посадили за стол, тщательно пытался пользоваться ножом и вилкой. Это мне удавалось с трудом – в силу деревенского воспитания и еще потому, что перебита на войне левая рука. Еще больше меня озадачила пара стаканов, ножей и вилок. Выручила Елена Алексеевна: «Да плюньте Вы на них, не мучайтесь. Как Вам удобно, так и кушайте».

Именно тогда почувствовал, что большая внутренняя культура заключается в естественности поведения человека. Будь это окоп или больница, застолье или общение с незнакомыми людьми в трамвае.

Сейчас Елена Алексеевна Тяпкина живет в доме престарелых актеров имени Неждановой, пишет мне иногда оттуда. Вот недавно ошеломила меня описанием о том, как училась вместе с Милицей Коорьюз в Киеве. Да, да, с той самой Милицей Коорьюз из «Большого вальса», и называет ее запросто Милкой! Надо будет повидаться и подробнее расспросить старушку обо всем – собеседник она прекрасный.

Бывая за рубежом, встречаюсь иногда с ветеранами войны. Например, у меня есть знакомые в Министерстве культуры ГДР. Один из них сорок лет назад служил обер-лейтенантом. Сидим, разговариваем, смеемся и вдруг, споткнувшись, задумываемся: может, я или он стреляли друг в друга...

– Что значит быть знаменитым, известным человеком?

– На этот вопрос лучше смогли бы ответить кинозвезды или хоккейные звезды. А я веду хуторской образ жизни. Говорят, один драматург знаменит тем, что голову бреет, другой в Союз писателей не вступает. Среди близких мне писателей таких потешников нету, потому что они знают истинную тяжесть этого труда и значимость, они, по-моему, сделались известными или знаменитыми не «по своей воле и охоте», а потому, что народ сам отыскал их в гуще изданной литературы, и слово их людям, надеюсь, жить помогает.

Я лично отношусь к своей работе как мой дед к пиленю дров, заготовке сена, строительству дома. И это избавляет от излишнего кокетства. Еще у меня есть испытанный метод собственного укрощения: гляну на полки личной библиотеки – там стоят книги Пушкина, Толстого, Достоевского, Чехова, Лескова, Тургенева – этого вполне достаточно, чтобы вести себя скромнее, спокойнее.

– Назовите, пожалуйста, по возможности лаконично, одним словом, те человеческие качества, которые Вы цените в людях больше всего.

– Доброта. Любовь. Мужество.

– Как Вы воспринимаете литературу в качестве читателя?

– Круг чтения у меня, человека пишущего, очень ограничен: просмотр периодики, читательских писем, рукописей моих коллег. Первое, что я услышал в жизни, – это «Кавказский пленник» Льва Толстого. Затем «Дед Архип и Ленька» Горького. Их нам читал вслух сельский учитель, с тех пор я их не перечитывал и не буду перечитывать, потому что есть ощущения, с которыми нельзя расставаться, которые человек должен сохранить как драгоценный подарок. Завидую тем, кто прочитает повесть Евгения Носова «Усвятские шлемоносцы», повести Константина Воробьева и Вячеслава Кондратьева, а также роман Ч. Айтматова «И дольше века длится день». С ощущением открытия я читал «Сто лет одиночества» Маркеса и совсем недавно – роман неизвестного у нас Дальтона Трамбо «Джонни получил винтовку» («Сибирские огни», 1983, № 9). Это настоящий роман XX века. Жанр сочинения определен автором с точностью и ответственностью. А то у нас нередко «романом» обозначают всякую толстую книгу, сочинение средней толщины – «повесть», потоньше «рассказ».

Сейчас перечитываю «Мертвые души» и «Переписку с друзьями» Гоголя, дневники Толстого, а когда, признаюсь, хочется чего-то такого «сладкого» беру «Португальские письма» Гийерага, изданные «Наукой». Книжка читается как песня или, скорее, как старый романс – в ней есть та самая размягченность души, та неторопливость чувств, которых нам сейчас так недостает.

– Что Вам больше всего нравится и неприятно в окружающих людях, в их поведении?

– Как и всех нормальных людей, привлекает в человеке порядочность, чувство обязательности во всех обстоятельствах, способность оставаться самим собою. Но надоела хуже горькой редьки ложь, притворство, привычка к пустому краснобайству.

– Мне припомнилась посвященная Вам эпиграмма: «„Царь-рыбу“ он во всей красе воспел, воздав ей полной мерой. Писателем довольны все, за исключением... браконьеров». Виктор Петрович, не сгущаете ли Вы краски для более сильного воздействия на читателей?

– К сожалению, нет. Многим кажется, что только вокруг больших городов не щадят лесов и рек, а уж там, в сибирской тайге и тундре, царят первозданный покой и порядок. Но современная жизнь разворачивается и здесь вовсю. И напористое зло под покровом тишины нередко берет верх над добром... С болью вижу «следы» пребывания «отдыхающих». Некоторые виды кустарников, деревьев, ягодников постепенно исчезают. Ягоды выбираются зеленцом; кедровая шишка выбивается неспелой; зверушки добываются с невыкунелой шкуркой; птица выбивается на водоемах, еще не ставшей «на крыло».

Все это выделывают люди не от голода, не от нужды, выделывают все это люди сытые... «Эх, люди! – хочется иногда крикнуть. – Что ж вы делаете-то? Опомнитесь!»

Думаю, пора ввести в школах и вузах специальные уроки природоведения, ибо разбой в природе происходит не всегда от жадности, порой и от неведения. Каждый гражданин нашей страны должен минимум один день в месяце поработать на природе. Только так, только большими усилиями, силами и средствами можно ощутимо помочь окружающей нас среде и пока еще, местами, цветущей земле.

– Как и где Вы сами любите отдыхать?

– В лесу. На реке. В деревне. Никаких южных краев и курортов для этих целей не выбираю. Помогает отключиться от работы и телевизор. Люблю, как и многие телезрители отдаленных районов, смотреть «Клуб кинопутешествий», «В мире

Астафьев Виктор Петрович Родной голос astafevvictor.ru
животных», «Очевидное – невероятное», музыкальные, спортивные передачи.

– Представьте себе, через пару часов очутитесь на необитаемом острове. Какую одну книгу, киноленту и три предмета – на выбор – Вы взяли бы с собой?

– «Робинзон Крузо» и фильм «Унесенные ветром». Как бывалый солдат, по тревоге – захватил бы с собой мыло и портянки. Последнее обязательно, хотя большинство Ваших сверстников, простите, совершенно не понимают, что это такое. Ну и еще удочки. Как же без них-то? Надо ж и на необитаемом острове кормиться. Там же столовых нету!

– Сомерсет Моэм говорил, что воображение пишущего человека – это такая наковальня, пропустив через которую собственное сердце, писатель не узнает его. А что же происходит с языком произведения? Слышал, как некоторые Ваши читатели жалуются на слишком большое количество диалектов в Ваших книгах.

– Я это не делаю сознательно. В данном случае – естественная потребность говорить так, а не иначе, как я разговариваю сейчас. Присутствие так называемых «диалектизм» – мое естество. Что, я их где-то наслушался, записывал, потом рассовывал в тексты? Я же вам говорил, что и записных-то книжек не веду. Ленив. Кстати, не знаю, для кого этих «диалектизм» много, а для кого их мало. Однажды получил письмо моего земляка, которое заканчивалось так: «Пиши как писал. Мы в Сибире все понимаем!..» (Смеется.) И еще приписка: «Не сдавайся!»

– Что доставляет Вам удовольствие: сам творческий процесс или законченное произведение? А может, и то и другое?

– Всякий раз по-разному. И каждый раз испытываешь чувство первосотворения. «Пастуха и пастушку» я много лет рассказывал целиком, от начала до конца. Я знал из нее фразы, которые так и остались в этой вещи: «Такое легкое ранение, а он умер...», «Почему ты лежишь один посреди России?» Они жили во мне, определяли тональность повести. Друзья говорили; «Садись и пиши – тебе ведь только и надо-то – записать!» А у меня «на сборы» ушло 14 лет. Когда я принялся за «Царь-рыбу», у меня о ней не было четкого представления. Просто водил рукой. И все.

Очень быстро пишу только черновики. Доставляет ни с чем не сравнимую радость заменять слова и в первой, и во второй, и в третьей редакциях... Поэтому очень боюсь версток, где не могу много править, приучен районной газеткой «жалеть» набранный текст, но в рукописи правлю много. Только «Кража» осталась непереписанной, однако до публикации перепечатывалась на машинке четырнадцать раз. «Пастух и пастушка», уже опубликованная, переделывалась четыре раза. Даже не знаю, чем и как это объяснить? Возможно, за то время, пока напечатается вещь, а проходит это у нас долго, происходит и заполнение тебя самого. Вещь еще «не остыла», а время делает свое дело.

– Считаете ли Вы себя счастливым человеком?

– Вопрос, в общем-то, сложный и простой. Счастлив бываю, когда работаю. Когда оглядываюсь на прошедший день и вижу, что он прожит с пользой. И еще придерживаюсь правила, вычитанного в одном из рассказов любимого мною Тургенева: «Счастье – оно, как здоровье, если о нем не говорят, значит, оно есть». Прекрасно сказано, не правда ли?

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://astafevvictor.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакии buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!